

---

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## ЛЕЙТЕНАНТЫ И МАРКИТАНТЫ

Тяжёлая резная дверь отворилась со скрипом, и на пороге появился человек низенького роста, в махровом халате, в домашних шлёпанцах, с выпученными веселыми глазами.

Его крупная облысевшая голова была обрамлена рыжеватым венчиком волос, и весь он излучал приветливость.

– Заходите, Станислав! Слуцкий мне хвалил Ваши стихи. Давайте знакомиться. Я буду Вас называть Стахом, а Вы меня Дезиком...

Дезик Самойлов – впоследствии обнаружил, что его никто почему-то не звал по отчеству, – жил в громадном доме, видимо, выстроенном в начале XX века для того, чтобы сдавать квартиры внаём. Дом стоял на площади, именуемой Александровской, а в те времена, когда я пришёл к Дезику, она именовалась площадью Борьбы.

Квартира Самойловых, в которую я вошёл в сопровождении радушного и слегка хмельного с утра хозяина, показалась мне необъятной – многокомнатной, с высоченными, потемневшими от времени потолками, украшенными то ли виньетками, то ли барельефами. Много лет спустя, уже после смерти Самойлова, в книге его воспоминаний “Перебирая наши даты” (М., 1999 г.) я нашёл особую главу, которую автор так и назвал: “Квартира”.

*“Квартира на Александровской площади досталась нам вот таким образом.*

*С 1915 года в ней жил варшавский коммерсант Вигдорчик, муж маминой сестры. Помню старую фотографию, где изображён упитанный мальчик в форме бойскаута и девочка в кружевных панталонах – мои двоюродные брат и сестра.*

*Вигдорчики были беженцы, так назывались тогда люди, эвакуировавшиеся из Варшавы перед приходом немцев. После замирения с Польшей семья тётки, запихав в мыло бриллианты, отбыла в Варшаву, а квартира, обставленная мебелью красного дерева в стиле *lin de siecle*, досталась нам. Отец, как врач при действующей армии, получил охранную грамоту на жилплощадь и имущество бывших буржуев.*

*С нашим въездом в квартиру совпал распад провинциального гнезда. В Москву из Борисова приехали дед, тётка и дядька. Они заняли две комнаты, в двух других поселились мы”.*

Вот таким образом заселялась Москва после революции, крушения “черты оседлости” и Гражданской войны.

Еврейская родня Дезика, естественно, была не единственной, перелетевшей в Москву 20-х годов. В сущности, вся “одесская школа” русскоязычных

литераторов перекочевала в столицу, не отставали от одесситов и киевляне, и харьковчане, и прочие деловые люди из западных и юго-западных местечек. Картина людских потоков была по своим масштабам грандиозной. Вот как об этом “переселении народа”, начавшемся во время Первой мировой войны, пишет А. Солженицын:

*“За счёт беженцев, выселенцев, но и немалых добровольных переселенцев – война значительно изменила расселение евреев по России, образовались большие еврейские колонии в городах дальнего тыла, (...) да не меньше того в столицах. Тянулись в них к родственникам или покровителям, уж давно осевшим на новых местах. В случайных мемуарах прочтём о петербургском зубном враче Флакке: квартира в 10 комнат, лакей, горничная и повар – таких основательных жителей – евреев было немало, и в годы войны при крайнем жилищном стеснении (...) они открывали возможность вселения для приезжающих евреев” (“Двести лет вместе”).*

После революции ситуация с заселением Москвы “малым народом” стала просто катастрофической.

*“Сотни тысяч евреев переселились в Москву, Ленинград и другие крупные центры”, “в 1920-м в Москве проживало около 28 тысяч евреев, в 1923-м – около 86 тыс., по переписи 1926 года – 131 тыс., в 1933 – 226,5 тыс.” (Краткая Еврейская энциклопедия. Иерусалим. 1976–2001 гг., т. 1, стр. 235, 477–478).*

Миллионы евреев после страшных западноевропейских погромов Средневековья, Реформации и Возрождения, изгнанные из Англии, Испании, Франции и германских княжеств (словом, после первого Холокоста XII–XVI веков), сгрудились в Восточной Европе – в Галиции, Австро-Венгрии, Польше. В начале XX века, в эпоху, о которой Осип Мандельштам писал:

*Европа Цезарей! С тех пор, как в Бонапарта  
Гусиное перо направил Меттерних,  
Впервые за сто лет и на глазах моих  
Меняется твоя таинственная карта –*

они хлынули, окрылённые социалистическими идеями, в пошатнувшуюся Россию.

Александр Межиров в 60-х годах так вспоминал о своих родителях, прошедших этот маршрут:

*Их предки в эпохе былой,  
из дальнего края (! – Ст. К.) нагрянув,  
со связками бомб под полой  
встречали кареты тиранов.*

Впрочем, в те времена подобные действия назывались не “международным терроризмом”, а “борьбой за освобождение рабочего класса” или “национально-освободительным движением”. Однажды, разглядывая подробную карту Восточной Европы, я наткнулся на обозначение маленького городка в Галиции – “Межиров” и сразу понял, откуда, из какого “дальнего края” “нагрянули” в Россию и Москву предки Александра Пинхусовича Межирова. А недавно – в январе 2006 года в какой-то телевизионной передаче известная писательница-феминистка Мария Арбатова рассказала, что во время Первой мировой войны оба её прадедушки перекочевали в Москву – один из Литвы, а другой из Польши и, естественно, поселились на Арбате. Отсюда, видимо, у потомков и пошла “географическая” фамилия Арбатовы. Так же, как у Шкловского из Шклова, у Пинского из Пинска, у Варшавера из Варшавы, у Ржевской – из Ржева и т. д. и т. п. Да и поэма Павла Антокольского также не случайно называлась “Переулок за Арбатом”, как и роман Рыбакова “Дети Арбата”. Место, так сказать, “намоленное”...

Столица перенаселялась, стремительно разбухала от потока, прорвавшего черту оседлости, уплотнялись многокомнатные квартиры, становившиеся коммуналками, на строительство новых жилищ у государства средств не было, и к концу 20-х годов в Москве образовалась громадная разветвлённая метастаза, называемая квартирным вопросом, который, по словам Михаила Булгакова, “испортил москвичей”.

Но в то давнее посещение дезиковской квартиры (а было это в июне 1960 года) я ничего ещё не знал о великом переселении семей и племён и с интересом слушал Дезика, который в халате и тапочках, похожий на героя одного из полотен русских художников (по-моему, “Свежий кавалер”), с пафосом читал мне свои стихи о судьбе поэта, об одиночестве, о позднем признании, о стоицизме, о терпении:

*Телеграфные столбы,  
телеграфные столбы,  
в них, скажу без похвальбы,  
простота моей судьбы.*

Однако простота эта, как я понял много позже, была ролью, которую разыгрывал всю жизнь Давид Самойлов. На самом же деле его жизнь была далека от аскетического идеала, нарисованного им в этом стихотворении.

\* \* \*

В конце 20-х годов прошлого века мой отец и его брат Николай стояли в бесконечных очередях на бирже труда и перебивались случайными заработками на волжских пристанях Нижнего Новгорода. Им было уже по двадцать лет. Парни в расцвете сил. Время беспризорщины, наступившее после смерти обоих родителей от тифа, слава Богу, они пережили. Но в нэповскую эпоху у них, как и у многих молодых людей, не было будущего. Биржа труда – и всё. При нэпе индустриализация страны, без которой невозможно было дать работу и хлеб десяткам миллионов безработных, была невозможна. Частники не хотели, да и не могли вкладывать деньги в чуждые им планы.

В материнской Калуге дела обстояли не лучше. Неграмотная бабка, вчерашняя крестьянка, после смерти моего второго деда от того же тифа в 20-м году, не знала, что станет с её детьми. Слава Богу, старшая дочь Поля выучилась на портниху и вышла замуж, следующая по возрасту Дуся пристроилась какой-то мелкой сошкой в управление железной дороги. Младший сын – дядя Серёжа, будущий сталинский ас-лётчик, бомбивший в 1941 году Берлин и награждённый в октябре 1941 г. (!) орденом Боевого Красного Знамени, – чтобы прокормиться, в 13 лет начал сапожничать, и лишь моя энергичная и волевая мать, благодаря калужским почётным грамотам за спортивные успехи, поступила после рабфака в один из первых советских вузов в Москве – в институт физкультуры. Да и то без бабкиных деревенских гостинцев – пирогов и бутылок с молоком – ей было бы трудно прожить в первые времена общежитской московской жизни.

Я рос в кругу своих родных, как дитя городского простонародья, и до сих пор помню ощущения полуголодного быта, которым мы все жили до середины тридцатых годов, до отмены продовольственных карточек. Я родился в разгар коллективизации. У матери вскоре пропало молоко, и бабка выкормила меня, как выкармливали деревенских детей в голодные времена – пережёвывала хлеб в тягучую клейкую массу, заворачивала в марлю – это была моя младенческая соска, к которой добавлялось разбавленное коровье молоко и сладкий холодный чай. Как тут было не заболеть ребёнку разными недугами, следы которых я ношу на своём теле всю жизнь. Так что я с малых лет узнал цену куска хлеба и чугунка картошки и до сих пор помню, с каким восхищением году в 36-м, после отмены карточной системы, попробовал первые лакомства: белый хлеб с маслом, шипучее сидро, чашку холодного густого кефира.

Иная жизнь была у настоящего баловня нэпа – Дезика, сына врача-венеролога и матери – сотрудницы Внешторгбанка. Вот как он вспоминает о своём детстве:

**“Папа консультирует на кондитерской фабрике Андурского. Он приносит громадные торты и плетёные коробки с пирожными. У папы лежит рыбник. Жирные свёртки с икрой остаются в передней после его посещения. Приносят сало, ветчину, виноград, оливки, телятину, цветную капусту... Я испытываю отвращение к еде”.**

Жаль, что воспоминания Дезика о том, как он жил и что он ел в голодную эпоху 20-х годов, уже не прочитают его соратники по военному поколению –

Михаил Алексеев и Виктор Кочетков, жившие в вымиравших от голода во время коллективизации поволжских сёлах, деревенские парни из “раскулаченных семей” – Виктор Астафьев, Фёдор Сухов, Сергей Викулов, выросшие в беспаспортной колхозной жизни.

Но почему при таком роскошном питании Дезик вырос маленьким и тщедушным? Наследственность, что ли? Или городская жизнь с грязным воздухом? Да нет, была у них и прекрасная загородная дача, о которой Самойлов вспоминает:

**“27 год. На открытой террасе, выходящей прямо в поле, уже стоял готовый завтрак: яйца, лишь утром снятые с лукошка, тёплый ржаной хлеб, удивительно душистый, только что вынутый из печи, масло тоже душистое, жёлтое, пахнувшее ледником, со студёной слёзкой, творог – синоним белизны, слоистый и тоже душистый, похожий на слоистые облака. Всё было неповторимого вкуса и запаха”.**

Эта картина похожа на гастрономические грёзы Генриха Гейне из его “Мыслей, заметок, импровизаций”:

*“Я человек самого мирного склада. Всё, чего я хотел бы: скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая постель, хорошая пища, очень свежие молоко и масло, перед окном цветы...”* Даже Гейне только мечтал о такой жизни, которой жил Самойлов.

Я несколько раз бывал и на другой самойловской даче, построенной в модном дачном посёлке Мамонтовка тестем Дезика врачом-кардиологом Лазарем Израилевичем Фогельсоном. Думаю, что эта дача была не хуже, чем дача Кауфманов, на которой у Дезика прошло безмятежное гастрономическое детство. Приехав в Мамонтовку в первый раз (кажется, в том же 1960 году), я поразился обширности сада, архитектуре и изысканности самой дачи, обильности угощения, которым хозяева встречали гостей, и главное, атмосфере – смеху, веселью и какому-то особенному устоявшемуся пониманию друг друга, конечно, с полуслова, а также обилию разнообразной выпивки, множеству анекдотов и изощрённому фронтёрству, которое лилось рекой:

– Так выпьем же, братия, за партию, – вдохновенно провозглашал Дезик и, поднимая к подслеповатым глазкам вырезку из газеты “Вечерняя Москва”, с восторгом добавлял, вглядываясь в текст какой-то информации: – За партию лимонов, доставленную к нам из солнечной Грузии!

В ответ, конечно же, раздавался гомерический хохот, и все дружно выпивали – и Павлик Антокольский с очередной пассией, и Боря Грибанов – крупный издательский работник, и будущий уполномоченный по правам человека в Госдуме Владимир Лукин, и молоденький Юлий Ким, и чтец-декламатор Яков Смоленский, и поэты Виктор Урин с Вероникой Тушновой, а также полузабытое или почти забытое мною множество довольных жизнью представителей еврейской творческой интеллигенции.

Конечно, такие застолья, сохранившиеся несмотря на все тяготы эпохи, можно было устраивать, имея немалые деньги и прочнейшие гастрономические традиции, корнями уходящие в нэповские времена...

...К середине дня народ разбрехался по участку – кто на волейбольную площадку, кто к настольному теннису, кто в беседку, увитую хмелем... Ближе к вечеру часть гостей разъезжалась, а все отяжелевшие от общения располагались ночевать в комнатах и на террасах, чтобы утром снова сесть за стол, уже прибранный и вновь накрытый трудолюбивой русской домработницей Марфой Тямкиной.

\* \* \*

В 60-е годы я ещё не был столь суров и ожесточённо требователен к своим товарищам-современникам. Историческая трагедия, в которой мы живём, начиная с конца 80-х, ещё не просматривалась на горизонте, а всякие частные разногласия? – да, они были, но чтобы из-за них отворачиваться друг от друга, не видеть в упор, презирать, обличать... О том, что такое время наступит, я даже подумать не мог...

В те годы я подарил одному молодому поэту свой стихотворный сборник “Метель заходит в город”, который сейчас выставлен на стенде, посвящённом лауреату Нобелевской премии в Ленинградском музее Анны Ахматовой на

Фонтанке с надписью: “Иосифу Бродскому с нежностью и отчаяньем книжку, совершенно чуждую ему. Станислав Куняев”.

В эти баснословные времена Андрей Синявский с Марией Розановой заходили в гости к Вадиму Валериановичу, и Розанова дала Вадиму Кожинову за шрам на переносице шутовское прозвище “штопанный нос”, прилипшее к нему.

В эти времена Анатолий Передреев бывал в салоне Лили Брик, куда ему “выписал пропуск” Борис Слуцкий, а Коля Рубцов, работавший в Ленинграде на Кировском заводе, встречался с завсегдатаями питерской богемы Кузьминским и Юппом, ныне живущими в Америке, писал стихи, посвященные Глебу Горбовскому и Эдику Шнейдерману, который через 40 лет отплатил ему страницами воспоминаний, полными ядовитой зависти к посмертной рубцовой славе. А Глеб Горбовский вместе с компанией Евгения Рейна и Оси Бродского навещал Ахматову.

Да и я сам безо всякого душевного стеснения застольничал в Тбилиси в кругу грузинских поэтов рядом с Евтушенко, вместе с ним летал в северные края на Бобришный Угор к могиле Александра Яшина, где, впрочем, у нас уже произошла первая серьезная размолвка...

\* \* \*

– Стах! – Дезик встаёт из-за стола и радушно распахивает объятия... – Я поэму закончил. Хочешь прочитаю? Садись! Валя, ещё триста граммов коньячку и по бутерброду с осетринкой. Я буду Стаху поэму читать!

Мы со вкусом выпиваем и в предвкушении чтенья раскрасневшийся, вдохновенный Дезик склоняется ко мне и таинственно шепчет:

– Поэма называется “Струфиан!” – Откинувшись, он оценивает эффект, произведённый волшебным названием, и начинает чтение:

*Дул сильный ветер в Таганроге –  
Обычный в пору ноября.  
Многообразные тревоги  
Томили русского царя.  
Он выходил в осенний сад  
От неустройства и досад.*

Он читает, самозабвенно жестикулируя, счастливый от слов и звуков, оттого, что написал, как ему кажется, нечто выдающееся да ещё и слушателя благодарного нашёл. А поэма – о русской истории, о загадочной смерти императора Александра Первого в Таганроге, о слухах, витавших вокруг этой якобы смерти, и, конечно, не мог Дезик обойтись без обаятельного ёрничанья, когда, похохатывая, подошёл к финалу, где речь шла о том, что император на самом деле и не умер, и не скрылся в Сибири, а его похитили какие-то инопланетяне и увезли на космическом корабле под названием “Струфиан”.

С лукавым пафосом, щедро пересыпанным высокопарной иронией, Дезик прочитал “крещендо”: “– А неопознанный объект летел себе среди комет”, – и тут же потребовал выпить за успех своей гениальной выдумки.

Я благосклонно хвалю поэму, разыгрываю искреннее восхищение – поэты ведь не могут жить без похвалы, особенно Дезик, который первую книжечку стихов издал в сорок лет. Мне приятно его общество, и ежели я выскажу нечто желчное, то потеряю обаятельного собеседника. И всё-таки я чуть-чуть нарушаю правила нашей игры:

– Русская история посленаполеоновской эпохи, если верить “Струфиану”, становится игровым абсурдом и обаятельным поэтическим фарсом, после которого о ней и рассуждать всерьёз совершенно необязательно, – вот что я говорю Дезику. Говорю мягко, раздумчиво... Он удивляется:

– Всякая история, Стах, достойна лишь иронии!

– Не всякая, Дезик, особенно русская.

– Ну прочитай что-нибудь антиироническое, – поддразнивает он меня.

Я читаю:

*Россия, ты смешанный лес.  
Приходят века и уходят,  
то вскинешься ты до небес,  
то чудные силы уведят  
бесшумные реки твои,  
твои роковые прозренья  
в сырые глубины земли,  
где дремлют твои поколения.*

Дезик на мгновение опускает глаза, задумывается и подводит черту под нашим осторожным спором:

– Ну, ладно... Давай лучше, Стах, выпьем!

В очередную встречу он был настолько возбуждён, что сразу прижал меня к стойке буфета:

– Стах, слушай! – И развернул предо мной картину своего детства. Я изобразил из себя само внимание, и стихи стоили того:

*Помню – папа ещё молодой,  
Помню выезд, какие-то сборы,  
И извозчик – лихой, завитой.  
Конь, пролётка, и кнут, и рессоры.*

*Помню – мама ещё молода,  
Улыбается нашим соседям,  
И куда-то мы едем. Куда?  
Ах, куда-то, зачем-то мы едем!*

*А Москва высока и светла.  
Суматоха Охотного ряда.  
А потом – купола, купола.  
И мы едем, всё едем куда-то.*

*Звонко цокает кованный конь  
О булыжник в каком-то проезде.  
Куполов угасает огонь,  
Зажигаются свечи созвездий.*

*Папа молод. И мать молода.  
Конь горяч. И пролётка крылата.  
И мы едем незнамо куда, –  
Все мы едем и едем куда-то.*

Пафосные стихи редко удавались Дезику, он по натуре был печальный шут, талант вольтерьянского склада, скептик, иронист, но это стихотворенье тронуло меня. Какими-то эпическими, почти величественными интонациями: лихой, завитой извозчик, горячий, звонко цокающий копытами конь, огонь и золото куполов, крылатая пролётка. И, конечно, красивая пара – родители. А главное – таинственность езды – “незнамо куда”, в какое-то сказочное прекрасное будущее... Романтические стихи! И мне так захотелось в ответ прочитать Дезику стихотворенье о своём детстве – недавно написанное и не читанное ещё никому:

*Свет полуночи. Пламя костра.  
Птичий крик. Лошадиное ржанье.  
Летний холод. Густая роса.  
Это – первое воспоминанье.*

*В эту ночь я ночую в ночном,  
Распахнулись миры надо мною,  
Я лежу, окружённый огнём,  
Тёмным воздухом и тишиною.*

*Где-то лаяли страшные псы,  
А луна заливала округу,  
И хрустели травой жеребцы,  
И сверкали, и жались друг к другу.*

Дезик удивлённо спрашивает:

– А что, Стах, ты жил в деревне?

– Да, детство прошло в калужской деревне, а отрочество – в эвакуации, в костромской...

Потом, прочитав новую стихотворную книгу Дезика, я понял его удивление: *“Я учился языку у нянек, у молочниц, у зеленщика”*. Всё, как у Ходасевича: *“Не матерью, но тульской крестьянкой я вскормлен был”*.

...Я был рад, что ему понравилось моё стихотворенье. Мы тут же выпили за оба наших шедевра и расстались довольные друг другом. К этому времени я уже знал, что можно читать Дезику, а что – нельзя. “Кони НКВД”, где мелькает еврейская фамилия полковника Шафирова – нельзя. “Реставрировать церкви не надо” – о разорении церквей в 20–30-е годы – тоже лучше не читать, как и стихи об еврейском исходе – с последней строчкой “вам есть, где жить, а нам, где умирать”. Не хотелось прерывать нашу увлекательную и почти искреннюю игру в ученика и учителя...

Много лет спустя, когда вышла посмертная книга воспоминаний Самойлова “Перебирая наши даты”, в которой было несколько фотографий, я взгляделся в одну из них. 1927 год. Дезик с отцом и матерью. “Папа молод и мать молода” – летучая, вдохновенная строка. А на фотографии на вид немолодая толстая еврейка, сотрудница Внешторгбанка. Рядом такой же толстенький, короткорукий папа – врач-венеролог, стоят, словно пара пингвинов, и мальчик, упитанный, безмускульный, узкоплечий, на тоненьких слабых ножках с развёрнутыми в стороны ступнями. Такой чарличаплинской походкой – носки в сторону – Дезик и проходил всю жизнь, словно ковёрный в цирке. Никакой сказочности, никакой лихости, никакого полёта на горячем коне и крылатой пролётке в таинственное будущее. Всё – нэповское, заурядное, вышедшее из дореволюционного местечкового быта, но облагороженное до неузнаваемости стихотворной фантазией Дезика. Земля эстонская ему пухом... Лучше бы я не видел этой фотографии.

По прошествии нескольких лет наши отношения с Дезиком изжили себя, истрепались, но поскольку он не мог пребывать в одиночестве, то окружил себя свитой молодых учеников – Серёжа Поликарпов, Вадим Ковда, Алёна Басилова, Олег Хлебников, да разве всех упомянешь! Он с наслаждением витийствовал в их кругу, читал стихи на “bis”, чаще других – “Пестель, поэт и Анна” или “Не верь ученикам, они испортят дело”, непрерывно хохмил, острил и дотягивал время до закрытия ресторана, когда его, маленького, обмякшего, красноносого, свита выводила на улицу, сажала в такси, и кто-нибудь из особенно преданных учеников отвозил его, но уже не на площадь Борьбы, а на Красноармейскую улицу или в его последнюю московскую квартиру – в Безбожный переулок.

Борис Слуцкий, как правило, проходил мимо этого шумного поэтического улья не задерживаясь. Его раздражало легкомыслие Дезика, он фыркал в усы и не подсаживался к застолью, несмотря на театральные жесты и призывы старинного друга.

Чаще других мэтром номер два в этом кругу появлялся Юра Левитанский, который после двух-трёх рюмок по просьбе Дезика и всей прилипшей к нему молодёжи, к их восторгу, читал свои знаменитые пародии. С особенным вдохновением вот эту:

*А это кто же? – Слуцкий Боба,  
А это кто? – Самойлов Дезик,  
И рыжие мы с Бобой оба,  
И свой у каждого обрезик.*

Дальше – не помню, помню только восторги самоейловского семинара и усатого Левитанского, который раскланивался и благодарил слушателей, как дама – сочинительница романов из чеховского рассказа “Ионыч”.

\* \* \*

“Сороковые, роковые” – благодаря именно этой буквальной цитате из Блока, до блеска замусоленной апологетами самоейловского творчества, Дезик в истории советской поэзии, во всех учебниках и антологиях аттестуется как один из главных поэтов Великой Отечественной. Однако в его военной судьбе есть немало странностей.

Ближайший друг Дезика из довоенной юности Борис Грибанов, вспоминая о своих ифлийских\* друзьях, писал: *“Среди них был и пулемётчик; фронтовой разведчик Давид Кауфман. Как подшутил один из его друзей в те годы, когда шла оголтелая борьба за мир: вы, главное, берегите Дезика, а то он однажды вышел из дома и дошагал до Берлина...”*

*“До Берлина”, конечно, Дезик “не дошагал”, и вообще его “военные дологи” были совсем не такими прямыми и героическими, какими их изобразил журналист Грибанов.*

16 октября 1941 года в роковой, в самый панический и бесславный день бегства населения Москвы от наступающей на город немецкой армады, когда все московские обыватели были уверены, что город вот-вот падёт, 22-летний студент, вполне здоровый молодой человек Давид Кауфман уплывает по Москве-реке пароходом на Восток, в глубокий тыл. Из книги Д. Самойлова *“Перебирая наши даты”*:

*“Пришла Л. и сказала, что есть билеты на пароход, отплывающий из Южного московского порта в Горький. Решили ехать. Необходимые вещи были уже связаны в большие тюки. Прогулочный пароход, куда нам удалось втиснуться, долго стоял у причала и, наконец, отвалил. В небольшом салоне разместились все мы: мои родители и тётка; Л. с офицером и мачехой; и, наконец, В. с тёткой и другом детства Женей...”*

...Я помню нашу эвакуацию из Ленинграда в августе 1941 года, помню в 1944 году обратный путь со станции Шарья на запад. Залезть в вагон с вещами было невозможно. А с детьми и недавно. Хорошо, что помогли офицеры, увидевшие женщину с двумя детьми на перроне.

Избежать в то время мобилизации было непросто. Моя мать в 1941–1942 годах работала врачом в призывных комиссиях при военкоматах – в первый месяц войны под Кингисеппом в Эстонии и после эвакуации – в костромском селе Пыщуг.

Меня ей не с кем было оставить, и я порой сутками был при ней и ночевал на диванах, обтянутых коричневым дерматином, рядом с призывниками, спавшими вповалку на полу на призывных пунктах.

До сих пор помню, что всем более или менее здоровым молодым мужчинам на этих медосмотрах ставился только один диагноз: “Голен”... Как за несколько первых тяжелейших месяцев войны Дезика не призвали в армию – можно только удивляться.

Да и погрузиться на “прогулочный пароход” для громадной семьи с вещами, “заранее связанными”, в дни всеобщей паники тоже было делом чрезвычайным и сказочным. Мы с беременной на шестом месяце матерью бежали из-под Кингисеппа в Ленинград, когда услышали, что немцы уже в двадцати километрах, бросив всё имущество, “в чём мать родила”. Точно так же уезжали в эвакуацию из Ленинграда с одним чемоданчиком – больше в последний эшелон, битком набитый детьми и женщинами, брать не разрешалось. И пропустили нас в этот последний эшелон только потому, что мать была “в положении”.

Но вернусь к Самойлову.

По пути в сторону от фронта впечатлительное нэповское дитя, видимо, насмотревшись на ужасы эвакуации, заболевает нервной горячкой настолько серьёзно, что остаётся на лечение в Куйбышеве и догоняет после выздоровления отца с матерью и остальных родственников даже не в Ташкенте, а ещё дальше от фронта – в Самарканде, и это в то время, когда все его ровесники или уже были на передовой или тряслись в воинских эшелонах, громыхающих на пути к фронту\*\*.

И это – в самые тяжёлые дни войны.

---

\* ИФЛИ – институт философии, литературы, истории, куда в 1938 году поступил учиться Д. Самойлов.

\*\* Когда я писал эти строки в Калуге, по “Радио России” шла передача – беседа поэта Андрея Дементьева с композитором Оскаром Фельцманом. Я отвлекся от текста и услышал: Фельцман рассказывает о страшной осени 1941 года и о своей судьбе, столь похожей на судьбу моего героя:

*“Но тут началась война, и я уехал в Новосибирск, где вскоре в свои 26 лет стал председателем Союза композиторов Новосибирска. Меня показали Шостаковичу, я познакомился с Колмановским, с Утёсовым, с Фрадковым, с Дунаевским и понял, что моё призвание оперетта”.*



Из воспоминаний Давида Самойлова: *“Мы прибыли в Куйбышев, и там я свалился в болезни, которую в прошлом веке называли “нервной горячкой”, “Недели через две, едва оправившись, принял решение следовать дальше – в Самарканд”, “В Ташкенте неожиданно встретил Исаака Крамова”...*

Вот где встречаются молодые 22-летние “ифлийцы”, мечтавшие в стихах “умереть в бою” и “дойти до Ганга”, – в глубине советской Азии. Поневоле, читая это, вспомнишь стихи Константина Симонова:

*“На память хоть шоры наденьте, но всё же поделишь порой // друзей, на залегших в Ташкенте и в снежных полях под Москвой”...*

О своём тыловом периоде жизни Самойлов пишет в воспоминаниях так: *“Полгода в Самарканде оказались для меня большим везением”, “вся моя жизнь сплошное везение”. В Самарканде он поступил в пединститут, быстро нашёл близких по духу людей, из которых и в этой глубочайшей эвакуации образовалась дружеская компашка – художник Тышлер, еврейский поэт Моргентай, литераторша Надежда Павлович... Но уйти от войны полностью не удалось – военкомат всё-таки обязал студентов пединститута поступить в офицерское училище, и, не доучившись в нём, Дезик через полтора года после начала войны, осенью 1942-го, наконец-то попал в действующую армию под Тихвин. Как он сам пишет: “Самые напряжённые месяцы войны я провёл на “тихом” фронте в болотной обороне”. В этой “болотной обороне” в марте 1943 года он и получил лёгкое ранение в руку, после которого попал в Красноуральский госпиталь, а выздорев, обретается в Горьком, служит писарем в Красных Казармах, выпускает стенгазету, сочиняет стенгазетные стихи, фельетоны и передовицы под псевдонимом Семён Шило. Стряпает стихотворные конферансы для праздников в Доме Красной Армии, встречается то с друзьями, то с родственниками, даже к своим эвакуированным однокашникам ифлийцам приезжает повидаться в Свердловск. Всё это изображено им самим в воспоминаниях, и об этом периоде его жизни Солженицын с иронией написал в “Новом мире”, что Самойлов был “отправлен на северо-западный фронт, рядовым, там ранен в первом же пехотном бою, за госпиталем – полоса тыла, писарь и сотрудник гарнизонной газеты, в начале 1944-го по фиктивному “вызову” от своего одноклассника, сына Безыменского” (тоже эстафета литературных поколений) и вмешательством Эренбурга был направлен в разведотдел 1-го Белорусского фронта, где стал комиссаром и делопроизводителем разведроты (“носил кожаную куртку” – тоже традиционный штрих)”.*

Таким образом этот “везунчик” дожил до нового 1944 года, потом навесит Москву, встретился с родителями, благополучно вернувшись из эвакуации в свою роскошную квартиру, и предался в их доме гастрономическим утехам, как в баснословные времена нэпа (“и уже мне несут довоенные блинчики и наливочку, и ещё что-то жарят, пекут... бесконечные расспросы, я солдат-фронтовик со шрамом на левом предплечье”).

Вскоре Самойлов встречается с Семёном Гудзенко, который ведёт его к самому Эренбургу в гостиницу “Москва”, где они пьют коньяк, закусывают трюфелями и где одновременно решается дальнейшая фронтовая судьба “везунчика” Дезика Самойлова.

На встрече со всемогущим Эренбургом следует остановиться особо, поскольку она проясняет мысль Грибанова о том, как Дезик *“вышел из дома и дошагал до Берлина”*. Проницательный и расчётливый Эренбург спрашивает своего юного соплеменника, сознавая, что вечно такое волонтерство длиться не может – и на передний край загреметь недолго:

*“Ну что ж. Ведь Вы туда проситесь, а не обратно, но куда именно Вы хотели бы поехать?”* (прямо как во время студенческого распределения. – **Ст. К.**).

Дезик готов к ответу: *“У меня при себе было письмо, где товарищ мой Лев Безыменский прислал нечто вроде вызова из разведотдела 1-го Белорусского фронта. Я попросился туда”* (желчный Солженицын назвал эту бумажку “фиктивным вызовом”. – **Ст. К.**).

*“Эренбург снял трубку и запросто поговорил с начальником Главразведупра Генерального Штаба генералом Кузнецовым”...* Вот что такое связи, вот что такое “кому война, а кому мать родна”. Что же случилось в итоге?

Из воспоминаний Самойлова: *“Вздыхнув, возвращаюсь в февраль 1944. Эренбург мне помог (! – Ст. К.) уехать на фронт. В разведотдел штаба фронта”*.

Из воспоминаний Самойлова о жизни весной и летом 1944 года:

*“Штаб фронта в ту пору представлял собою большое слаженное учреждение, располагавшееся километрах в ста, а то и больше от передовой”.*

*“Дня три я прожил в полном безделье. Валялся на койке, читая Гоголя, и поедал шоколад из домашних посылок запасливого Лёвы Безыменского...”*  
*“Организовал самодеятельность, начал писать стихи...”*; *“До лета 1944 года жили мы в прекрасном лесу среди сосен и орешников, вместо занятий дремали полдня на полянках в отдалении от войны”.*

Оставшиеся несколько месяцев войны поэт вместе со штабом фронта двигался на Запад в ста километрах от передовой и докатился не до Берлина, конечно, а до Польши и до восточной Германии. Но его “нэповское” или “ифлийское” “волонтёрское”, “инфантильное” состояние, в котором он прожил всю войну, за исключением нескольких месяцев “болотного сиденья” на Волховском фронте, наложило неизгладимую печать на всё стихотворное наследие, посвящённое войне. Этот отпечаток, это ощущение не “великой всенародной беды”, а личного “веселья”, некоего праздника жизни – “война гуляет по России, а мы такие молодые”, “да, это я на белом свете худой, весёлый и задорный”, “и я с девчонкой балагурю” – позволило Татьяне Глушковой пронизательно заметить:

*“Гуляет”, “гуляешь”, “гулянье” – слова весёлые. Они сопрягаются в русской речи и русском сознании с праздником, радостью, молодечеством, торжествующей раскованностью, вольною, удалою силою... в них звучит увлеченье, некое восхищение тем, кто “гуляет”, – и потому вряд ли приложимы к “священной войне” – как сурово пел народ о Великой Отечественной, ведь тут “смертный бой”, а не “простор жизни”.*

Об этой суровой, но справедливой статье Самойлов отозвался в дневниках с крайним раздражением: *“Статья Глушковой против меня. Глупо, бездарно. Грязное воображение...”*

Но Глушкова была права, потому что каждым своим новым поэтическим свершением Самойлов подтверждал тезисы её статьи.

В самой значительной своей поэме “Ближние страны” герой Самойлова с таким же “весельем” и “балагурством”, так же “гуляючи”, вслед за частями, взявшими город штурмом, входит в него и, как хозяин, диктует свою волю местным обывателям, крутит романы с немками, особенно податливыми, поскольку у победителя есть и “тушёнка”, и “водка”, и “папиросы”... *“Инге нравится русская водка”.* Роман развивается на глазах у жениха Инги – букиниста из Потсдама, Ингина тётка просит *“один бабироса” – “Папироса! – цежу я с ухмылкой”*; *“мы сидим с женихом, словно братья”*... Но герой поэмы ухмыляется над глуповатым женихом, который очарован коварным хлебосольством “победителя”, покупающего “фрейлину” разгромленного народа за банку тушёнки и рюмку водки... А что записывает победитель барышне в альбом, услужливо преподнесённый ему? – нечто глумливое: *“Фролайн Инге! Любите солдат, всех, что будут у Вас на постое”*...

Именно в этой поэме, написанной в 1954 году, у Самойлова окончательно прояснились подлинные черты его любимого героя, облик которого он в полный рост нарисовал в стихотворении “Маркитант” (середина 70-х годов).

*Фердинанд, сын Фердинанда,  
Из утрехтских Фердинандов  
Был при войске Бонапарта  
Маркитант из маркитантов.*

*Впереди гремят тамбуры,  
Трубачи глядят сурово,  
Позади плетутся фуры  
Маркитанта полкового.  
.....*

*Бонапарт диктует венским  
И берлинским, и саксонским,  
Фердинанд торгует рейнским,  
И туринским, и бургундским.*

*Бонапарт идёт за Неман,  
Что весьма неблагоприятно.*

*Фердинанд девицу Нейман  
Умыкает из-под Гродно.*

*Русский дух, зима ли, бог ли  
Бонапарта покарали.  
На обломанной оглобле  
Фердинанд сидит в печали.*

*Вьюга пляшет круговую.  
Снег валит в пустую фуру.  
Ах, порой в себе я чую  
Фердинандову натуру!..*

*Я не склонен к аксельбантам,  
Не мечтаю о геройстве.  
Я б хотел быть маркитантом  
При огромном свежем войске.*

Фердинанд имел реального прототипа. В своих воспоминаниях, рисуя родословное древо Кауфманов, поэт писал: *“За прадедом начинается некий генеалогический туман, откуда выплывает фигура Рафаэля Фердинанда, солдата или маркитанта наполеоновских войск. Маркитант сей, по легенде, отступал с Великой армией, застрял в городе Борисове, где осел, женился и прославился основанием обширного рода...”*

Но стихи – убедительней воспоминаний. Стихотворение “Маркитант” отозвалось в литературной судьбе Самойлова неожиданным образом и определило его взаимоотношения и с миром, и с Юрием Кузнецовым.

Вначале Самойлов принял появление Кузнецова с восхищением и опаской: *“Стихи Ю. Кузнецова в “Новом мире”. Большое событие. Наконец-то пришёл поэт. Если мерзавцы его не прикупят и сам не станет мерзавцем, через десять лет будет украшением нашей поэзии. Но что-то и тёмное, мрачное”* (1975 г.).

Помню, как однажды, прочитав стихотворение Кузнецова “За дорожной случайной беседой”, он в цэдээловском ресторане, схватив Юрия Поликарповича за грудки, начал чуть ли не со слезами на глазах уговаривать последнего: – Юра, не пытайтесь быть сверхчеловеком!

Но у Кузнецова, к тому времени знавшего самоеловское стихотворение “Маркитант”, уже была написана отповедь всей философии и практике “маркитантства”.

Чтобы не цитировать стихотворение целиком, напомню, что речь в нём идёт о том, как сблизилась на равнине два войска, ведомые лейтенантами (“маркитанты в обозе”), как с обеих враждебных сторон навстречу друг другу тайно вышли разведчики-маркитанты, посланные на разведку лейтенантами:

*Маркитанты обеих сторон,  
Люди близкого круга,  
Почитай, с легендарных времён  
Понимали друг друга.*

*Через поле в ничейных кустах  
К носу нос повстречались,  
Столковались на совесть и страх,  
Обнялись и расстались.*

*Воротился довольный впотьмах  
Тот и этот крапивник\*  
И поведал о тёмных местах  
И чем дышит противник.*

*А наутро, как только с куста  
Засвистала пичуга,*

---

\* “Крапивник”, “крапивное семя” – “ярыжка”, “приказной крючок” (словарь Даля), мелкий делопроизводитель, писарь, составитель кляуз, сюда же можно отнести и “жёлтых” журналистов, наёмных газетчиков, “папарацци” и т. д.

Зарубили и в мать и в креста  
Оба войска друг друга.

А живые воздали телам,  
Что погибли геройски.  
Поделили добро пополам  
И расстались по-свойски.

Ведь живые обеих сторон –  
Люди близкого круга,  
Почитай, с легендарных времён  
Понимают друг друга.

То, что в стихах Самойлова было водевилем, то под пером Юрия Кузнецова стало всемирно-исторической драмой. Этого толкования Дезик простить Юрию Кузнецову не мог, и несколько его дальнейших записей, сделанных в дневнике, – тому свидетельство:

*“Сотворив из Ю. Кузнецова кумира, эта шатия будет искать ему жертву. Скорей всего, это буду я”* (1979 г.).

*“Злобный выпад Ю. Кузнецова против меня в альм. “Поэзия. Комплексы. Сальеризм”* (1981 г.).

*“Кажется, большего, чем он написал, не напишет”* (1983 г.).

Но как бы то ни было, если перевести родовую фамилию Дезика “Кауфман” на более понятный язык, то она будет звучать, как “торговец”, “рыночник”, то есть “маркитант”...

Да и, честно говоря, в предвоенные годы ифлийцы больше “играли в войну” в своих стихах и песнях о “флибустьерах и авантюристах”, нежели были готовы к настоящим, а не выдуманым войнам. Вот почему они не выдержали первого испытания финской войной.

Из воспоминаний Самойлова, написанных в 80-е годы:

*“В первый же раз в лоб предложенный историей вопрос поверг почти всех нас (выделено мной. – Ст. К.) в смущение. Это было в начале незначительной финской войны. Почему на фронт пошёл тогда без колебаний один Наровчатов? Кажется, Слуцкий был решительно лучше нас подготовлен к войне. А он, говорят, ушёл из добровольческого батальона. Почему не пошёл Павел (Коган. – Ст. К.), чья храбрость ярко проявилась в большой войне. Не пошёл и Кульчицкий...”*

*“Тогдашнее наше мировоззрение оказалось во многом слабым, ложным и постепенно распалось”; “Я поздно созрел для войны”, – честно напишет о себе Самойлов. А об ифлийце Михаиле Львовском говорит ещё круче: “А он не созрел никогда”. Михаил Львовский был автором многих военных песен. Писать восторженные оды грядущим боям оказалось легче, нежели принять общенародную судьбу, как свою. Эту судьбу сумели без лишних слов возложить на юношеские плечи призывники из простонародья, в основном из крестьянства, а не ифлийцы, которые по какому-то естественному отбору становились военными журналистами (Л. Безыменский), военными юристами (Б. Слуцкий), агитаторами (Л. Копелев), комсоргами при штабе фронта (Д. Самойлов) и т. д. Именно о таких, как они, Александр Твардовский в письме к Л. Разгону писал: «Терпеть не могу, когда литераторы и журналисты, прошедшие войну в этом качестве, говорят: “Я воевал и т. п.”»*

\* \* \*

В далёком 1987 году я опубликовал в журнале “Молодая гвардия” статью о поэтах, вошедших в литературу перед войной и в первые годы войны, где, отдавая дань их талантливости, их гражданскому и человеческому мужеству (“отряд высокоодарённой поэтической молодёжи”, “бескомпромиссный талант”, “абсолютная искренность поколения”, “романтическое бесстрашие”, “жертвенность” – характеристики из моей статьи), тем не менее спорил с принципами романтизации войны, оспаривал книжные романтические схемы “земшарной республики Советов”, абстрактно понятого интернационализма, ярче всего, пожалуй, выраженного в формуле М. Кульчицкого: “Только совет-

ская нация будет и только советской расы люди”. Цитируя строки, воспевающие ход мировой революции:

*Но мы ещё дойдём до Ганга,  
но мы ещё умрём в боях,  
чтоб от Японии до Англии  
сияла Родина моя.*

(П. Коган)

*Я романтик разнаипоследнейших атак.*

(М. Кульчицкий)

*Выхожу двадцатидвухлетний  
и совсем некрасивый собой,  
в свой решительный и последний  
и предсказанный песней бой.*

(Б. Слуцкий)

“Песня” – это “Интернационал”, сущность которого, к сожалению, выдохлась с первого же дня Великой Отечественной), я доказывал, что именно такие агрессивно-романтические формулировки, унаследованные ифлийцами от поэтических учителей старшего поколения, помешали им понять характер начавшейся войны, как “Отечественной”, “народной”, “священной”.

Выросшая на стихах крупнейших поэтов-романтиков революционного поколения – Маяковского, Антокольского, Багрицкого, Светлова, Сельвинского – довоенная ифлийская молодёжь жаждала видеть начинавшуюся войну как продолжение мировой революции...

После моей молодогвардейской статьи по ней сразу же был выдан “артиллерийский залп”. Меня заклеили О. Кучкина в “Комсомольской правде”, Е. Евтушенко в “Советской культуре”, А. Турков в “Юности”, Ю. Друнина и Л. Лазарев-Шиндель в “Знамени”. Следом подали свои голоса “Книжное обозрение”, “Огонёк”, “Литературная Россия”.

Каковы же были главные аргументы моих критиков? Прежде всего, в ход шло простое житейское правило, действующее на читателя: люди погибли на войне, и потому их творчество не подлежит обсуждению. “Если он способен поднять руку на павших” (Л. Лазарев); “клевета на честных писателей, павших на Великой Отечественной войне и не имеющих возможности защититься” (“Книжное обозрение”). И т. д.

Но житейская мудрость – “о мёртвых или хорошо, или ничего” – годится только на гражданских панихидах, тем более что я не говорил ничего плохого о личностях, а не соглашался лишь с идеями. Идеи переживают людей, и, когда изнашиваются, время сбрасывает их. Такое всегда происходит в истории культуры. Вспомним, какие споры бушевали, да и ещё бушуют вокруг имён Достоевского, Маяковского, Есенина...

Я писал о том, что в стихах Кульчицкого “Не до ордена – была бы родина с ежедневными Бородино” меня коробит слово “ежедневными”. Как-то не укладывалась в моём уме эта лихость: ну, представьте себе желание видеть ежедневное взятие Берлина или ежедневную Курскую дугу? В ответ Л. Лазарев гневно упрекал меня: “Для того, чтобы как-то объединить очень разных поэтов (иные из них и знакомы не были друг с другом), о которых он ведёт речь, создать видимость группы, кружка или чего-то вроде масонской ложи, Куняев именуется их “ифлийцами”, всё время говорит об “ифлийском братстве”, “ифлийской молодёжи”, “ифлийцах старшего поколения”, даже об “ифлийстве” как о некоем идейно-художественном направлении...”

Но вот что писала о духовно-мировоззренческом единстве ифлийцев сама бывшая ифлийка Елена Ржевская, вдова Павла Когана, в статье “Старинная удача”, опубликованной в “Новом мире”, № 11 за 1988 год.

“Что такое ИФЛИ? Произнесённая вслух одна лишь аббревиатура сигнализирует, что-то излучает. Незнакомые до того люди, обнаружив, что они отсюда, из ИФЛИ, немедленно сближаются. Может, оттого, что там прошла юность? Так, но не только. А может, ИФЛИ вообще иллюзия, хотя и устойчивая. Но тогда такая, о которой умный английский писатель сказал: иллюзия – один из самых важных фактов бытия.

Мне кажется, ИФЛИ – это код, пока не поддавшийся раскодированию. ИФЛИ был новью, чьим-то неразгаданным замыслом, намерением, на краткий миг замерещившейся возможностью, коротким просветом в череде тех жестоких лет. И ещё: ИФЛИ – это дух времени, само протекание которого было историей”.

По-моему, характеристика Е. Ржевской сути ифлийства была куда ближе к понятию масонской ложи, нежели моё истолкование.

За истекшие 20 лет сущность ИФЛИ настолько “раскодирована” и разгадана, что всё тайное, на что намекала Ржевская “посвящённым”, давно уже стало явным.

Из воспоминаний Д. Самойлова 80-х годов:

“ИФЛИ был задуман как Красный лицей, чтобы его выпускники со временем пополнили высшие кадры идеологических ведомств, искусства, культуры и просвещения. Это осуществилось только отчасти. Помешала война, на которую пошло много ифлийцев, а также старомодный (сложившийся в 20-е годы. – Ст. К.) подбор студентов, где почти не учитывался национальный признак...”

Туманно выразился Д. Самойлов. С одной стороны, национальный признак не учитывался, в том смысле, что об этом не принято было говорить. С другой стороны, он на деле присутствовал, поскольку добрая половина ифлийцев были еврейского происхождения. Об этом Самойлов, с присущей ему толерантностью, даже в дневниках не стал говорить открытым текстом, а написал так: “Компанию сейчас кое-кто называет “ифлийцами” (думаю, что он имел в виду меня. – Ст. К.), вкладывая в это понятие оттенок социальной и даже национальной неприязни”.

А вот что уже совершенно открыто, безо всяких намёков, пишет об ИФЛИ в сентябрьском номере журнала “Знамя” за 2006 год закадычный друг Давида Самойлова Борис Грибанов (1920–2005):

“Об ИФЛИ написано и рассказано многое. Этому способствовало то обстоятельство, что, когда началась Великая Отечественная война, институт был ликвидирован, слит с Московским университетом. Уход в небытие такого известного и престижного института, каким был ИФЛИ, породил немало легенд. Кое-кто даже сравнивал ИФЛИ с Царскосельским лицеем. Впрочем, возможно, что такая параллель мелькала в мозгах тех немногих образованных людей, стоявших у власти, которым была поручена организация этого института. Это были единицы в толпе малограмотных вождей, у которых за плечами было в лучшем случае два-три класса церковно-приходского училища...”

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что ИФЛИ, созданный в сентябре 1934 года, строился не по воле “малограмотного вождя” (Сталина. – Ст. К.). Но по чьей? Может быть, по чертежам “образованных” профессиональных революционеров – Зиновьева, Каменева, Бухарина? Или по разработкам деятелей Коминтерна Карла Радека, Бела Куна, Иосифа Пятницкого-Тарсиса?

Как бы то ни было, с первых же лет институт стал необычайно популярным. Из воспоминаний Бориса Грибанова:

“Место для института нашли не в центре, а за городом, за Сокольниками, был отобран первоклассный профессорско-преподавательский состав – из числа тех, кто не был расстрелян в годы Гражданской войны и не уехал в эмиграцию <...> (о любимом профессоре ифлийцев Л. Пинском Самойлов пишет в своих воспоминаниях так: “В старину он стал бы знаменитым раввином, где-нибудь на хасидской Украине” (! – Ст. К.). Была в ИФЛИ ещё одна отличительная черта – обилие среди студентов детей высокопоставленных партийных руководителей: институт был элитный, и в него поступали сыновья и дочери наркомов, деятелей Коминтерна, комкоров”.

А дальше Грибанов говорит вроде бы странные вещи: институт, созданный для воспитания государственной элиты, правящего сословия, вдруг начинает уничтожаться самой властью.

“Расплата не заставила себя долго ждать. Родители исчезали в чёрной дыре Лубянки, а детям оставалась постыдная участь: подниматься на трибуну 15-й аудитории ИФЛИ, где проходили главные лекции и комсомольские собрания, и отречься от своих отцов и матерей”.

Кто же были эти “отцы и матери”, и каким детям приходилось отречься от них? Об этом вспоминает ещё одна ифлийка, которую я знал по писатель-

ской жизни 60–70-х годов, Раиса Либерзон-Орлова, чьим последним мужем был известный публицист Лев Копелев. Их обоих уже нет на этом свете. Пламенные ифлийские революционеры 30-х годов, ставшие эмигрантами в 80-х, нашли успокоение в немецкой земле. Но их книги, недавно вышедшие в России, проясняют многое из жизни ифлийства.

*Из мемуаров Р. Орловой:*

*“В ИФЛИ поступали сыновья и дочери высокопоставленных тогда отцов – Лев Безыменский, Хана Ганецкая, Ирина Гринько, Муза Егорова, Наталья Залка, Марина Крыленко, Агнесса Кун, Олег Трояновский. Для сегодняшних читателей скажу без подробностей, что это были дети высших деятелей Коминтерна, наркомов, дипломатов”. А ещё Орлова-Либерзон вспоминает Чаковского, Самойлова, Солженицына. Самойлов в своих воспоминаниях дополняет этот список именами Юрия Левитанского, Елены Ржевской, Исаака Крамова, Семёна Гудзенко, Григория Померанца, Льва Осповата, Александра Крейна, Льва Копелева, Павла Когана, Игоря Черноуцана и тем самым подтверждает своё же наблюдение о том, что при наборе в ИФЛИ “почти не учитывался национальный признак”, что можно понимать лишь таким образом: русских студентов в ИФЛИ или почти не было (по крайней мере в “самойловском” списке), или они представляли в нём крохотное нацменьшинство.*

*“У нас, – вспоминает Раиса Орлова-Либерзон, – царил культ дружбы. Был особый язык, масонские знаки, острое ощущение “свой”. Сближались мгновенно, связи тянулись долго...”*

*“Необъяснимо, чем влекли слова “флибустьеры”, “весёлый Роджерс”, “люди Флинта”. Они перекликались с Гумилёвым, Грином, Кипплингом, но всё это про нас”.*

Поразительно, что ифлийцы жили Кипплингом и Грином, но не вспоминали ни о Шолохове, ни о Есенине, ни о Булгакове, ни о Платонове. Словно инопланетяне. Даже Блок и Ахматова, даже Ключев с Мандельштамом не интересовали их. Более того, как откровенничает Самойлов: *“У нас заканчивали образование Твардовский и Симонов, но не они нравились ифлийской элите. Больше нравились свои”.* (Вот так-то. Даже Симонова, видимо, за его “государственничество” ифлийцы не считали своим.)

*“Марк Бершадский был принципиальным носителем ифлийского вкуса. В прозе это были Бабель, Олеша, Ильф и Петров и Хэмингуэй. В поэзии Пастернак...”* “В ИФЛИ знание Пастернака было обязательным признаком интеллигентности”. (Из воспоминаний Д. Самойлова.)

\* \* \*

Выбор работы и условий жизни даже после 1937 года для уцелевших ифлийцев был просто роскошным. Из воспоминаний Р. Орловой-Либерзон: *“Выпускники 1939, 1940, 1941 годов не искали работы – работа искала выпускников. Я заполняла анкеты в десяти учреждениях, среди них ЦК, Наркоминдел, Совнарком. У меня, как и у большинства из нас, была возможность выбора”.*

Условия жизни нэповского детёныша Самойлова не были для ифлийской элиты какими-то исключительными. Семья Раисы Орловой-Либерзон жила не хуже – в одном из лучших по тем временам домов Москвы (ул. Горького, д. № 6, напротив телеграфа). По словам Орловой, квартира была в “сто квадратных метров”, несколько комнат. В одной из них, естественно, жила русская няня-домработница.

*“Звали её классическим именем Арина, но для всех в доме она была просто “няня”. Она прожила у нас 20 лет”.* Конечно, обихаживать стометровые квартиры и дачи, накрывать яствами столы в Москве и за городом, а во время нашествия гостей с утра до вечера мыть посуду, что делала на моих глазах в Мамонтовке женщина в белом платочке, – было непосильным делом для матери Дезика Кауфмана или Раисы Либерзон. А потому еврейские состоятельные семьи той эпохи обязательно имели домашних работников. Их можно было выбирать из женщин, толпящихся в очередях на биржах труда, они сами бродили по городу, стучались в двери хороших домов и, выброшенные, вытесненные из своих деревень железной метлой коллективизации, голодом 1931–33 года, напрашивались на любую работу, даже за харчи... Да и многие девушки

из дворянских фамилий, лишённые многих прав из-за классового происхождения, готовы были на всё и становились няньками, кухарками, экономками, со-держанками сначала нэповской, а потом и вообще советской чиновничьей знати. (Читайте роман “Побеждённые” И. В. Римской-Корсаковой. – Ст. К.)

Отец самой Раисы Орловой-Либерзон был крупным издательским чиновником. Ездил в 20–30-е годы для переговоров к Горькому на Капри, потом работал во Всесоюзном обществе культурных связей с границей (знаменитом ВОКСе), куда к нему после окончания ИФЛИ пришла в сотрудники дочь. У него, как вспоминает она, **“был пистолет”, “в период хлебозаготовок, куда его посылали, он получил право на владение оружием”**. Последний муж Орловой Лев Копелев так же, как и ещё один ифлиец Александр Чаковский, “раскулачивал” русское крестьянство и тоже **“имел право владеть личным оружием”** (Р. Орлова). Чувства вины перед своими собратьями по перу из раскулаченных семей – Михаилом Алексеевым, Александром Яшиным, Виктором Астафьевым – Копелевы и Либерзоны никогда не испытывали, ни до XX съезда партии, ни в “оттепель”, ни в 60-е годы, ни в перестройку.

Честная исследовательница советской истории еврейка Соня Марголина в книге “Конец Лжи: Россия и еврейство в XX веке” писала об этой трагедии так: *“В конце 20-х годов немалая часть еврейских коммунистов выступила в сельской местности командирами и господами над жизнью и смертью. Только в ходе коллективизации окончательно отчеканился образ еврея, как ненавистного врага крестьян – даже там, где до тех пор ни одного еврея и в лицо не видели”\**.

“Раскрестьянивая” крестьянство, эти “комиссары коллективизации” вольно или невольно создавали армию беженков из русской деревни, которые и становились их бесправными домработницами. Одной из них была и моя мать Александра Никитична Железнякова, оставившая мне в наследство после своей смерти несколько страничек воспоминаний.

*“Моему сыну Станиславу.*

*Это было трудное время. Первые годы после революции. 1920 год. У нас умер отец от сыпного тифа, а мать переболела им и стала разъезжать по России и менять одежду и вещи на хлеб. Даже в Ташкент ездила. Нас у неё было четверо детей. Мне в это время было 12 лет. Жили в Калуге. И вот однажды к нам приходит еврейка, молодая женщина, и просит мать отдать меня к ней в няньки. Эта еврейка была женой бывшего владельца кожевенного завода, Кусержицкая Евгения Александровна. Муж её Яков Захарович уезжал из Калуги часто по каким-то делам в Москву. Моя мать обрадовалась, что меня не надо кормить дома, так как мы голодали, голодала вся страна, а у Кусержицких я за хлеб стала нянькой. Девочке Розе было три года, а Рите что-то около года, она ещё не умела ходить. Мне приходилось рано вставать и бегать к Кусержицким, заниматься с детьми.*

*Кормили меня отдельно от детей, но я была и этим довольна, так как дома, когда мать уезжала на долгое время, у нас, кроме картошки, ничего не было. У Кусержицких же я даже узнала вкус сыра. Очень чёрствого, но вкусного. Я ходила с Розой к раввину, когда резали кур, но самое неприятное было в том, что Евгения Александровна всегда заставляла меня караулить квартиру из трёх комнат, хорошо обставленную мягкой мебелью, с большими зеркалами, с очень красивыми кроватями, с подушками в кружевах. Она, видимо, боялась, что кто-нибудь залезет к ним, и потому я почти не гуляла по улице, а сторожила квартиру, сидя на большом сундуке, покрытом ковром. Иногда летом мне очень хотелось на улицу, и тогда я, забрав Розу и Риту, отправлялась к себе домой, там мы играли во дворе вместе с моим братом Сергеем и двоюродным братом Васькой. Так продолжалось больше двух лет. За всё это время я только завтракала и обедала у Евгении Александровны. Никакой платы она за меня моей матери не платила. В 1924 году они уехали в Москву. Яков Захарович был там каким-то акционером. Евгения Александровна и я с тремя детьми (у них родился сын Илья) жили на даче в Мытищах. Занимали дом с мезонином из четырёх комнат с террасой и садом. Иногда из Москвы приезжал Яков Захарович с какими-то мужчинами, хорошо одетыми, и долго о чём-то совещались, спорили. Я с Розой и Ритой занимала комнату, куда каждый вечер*

\* Sonja Margolina. Das End der Lügen: Russland und Juden in XX Jahrhundert. S. 84.



Евгения Александровна приносила большую шкатулку, очень тяжёлую, и ставила её на мою постель под подушку. Мне было неудобно спать, и я передвигала шкатулку выше подушки к стенке кровати. Но Евгения Александровна сердилась и говорила, чтобы я не трогала шкатулку.

Утром она убирала шкатулку в свою комнату. Однажды Роза, которой уже было около шести лет, открыла шкатулку, и я увидела в ней очень много золотых монет, цепочек, браслетов и колец. Откуда всё это у них было – я не знаю. В Калуге этой шкатулки не было. И всё же кто-то знал, что они живут богато. Однажды ночью к нам забрались жулики, украли из буфета всё столовое серебро, что-то украли из комнаты Якова Захаровича. Вот тогда я поняла, под какой угрозой находилась моя жизнь. Ведь если бы жулики проникли в нашу комнату, то, конечно бы, могли найти шкатулку с золотом, которая находилась в моей кровати. После ограбления Евгения Александровна меня, девочку, не знавшую дороги в Москву, послала на станцию Перловка, откуда я дала по её записке телеграмму Якову Захаровичу в Москву. Но никаких украденных вещей они не нашли, а в сентябре-месяце собрались уезжать в Германию и начали уговаривать меня поехать с ними, обещая меня учить и сделать членом своей семьи. Я разревелась – соскучилась по Калуге, по своим домашним и отказалась ехать в Германию. Тогда Яков Захарович велел жене меня собрать, дал мне какое-то платье Евгении Александровны, несколько пар чулок, резиновый мяч – вот и всё, и меня отвезли на Киевский вокзал, откуда я добралась до Калуги.

В 1928 году Кусержицкие вновь приехали в Калугу и сняли первый этаж из шести комнат на Смоленской улице.

Я уже была студенткой Института физкультуры. Они пришли к нам и опять начали уговаривать мою мать, чтобы мне ехать в Германию. Мать, конечно, отказала им, сказав, что я уже большая и учусь в институте, получаю стипендию и сама зарабатываю во время каникул деньги. Евгения Александровна стала мне рассказывать, как хорошо они живут в Германии, что Яков Захарович имеет собственную фабрику, но я была уже комсомолкой, и меня совершенно не интересовали ихние собственные фабрики в Германии. Прожив около одного года в Калуге, когда нэп пошёл на убыль, Кусержицкие уехали в Германию, и я о них уже ничего не слышала. А вот откуда у них было столько золота в шкатулке – чёрт их знает. Видимо, оно осталось у них с дореволюционных времён, их совершенно не коснулись голод и разруха, которые испытывали в эти годы рабочие и интеллигенция России. И понятно, почему они сразу же после прекращения нэпа уехали в Германию. Те люди, которые приезжали к ним в Мытищи на дачу, по-моему, тоже были богаты. Они были хорошо одеты, с кольцами на руках, с золотыми цепочками и часами на жилетах. Помню, как однажды эти господа приехали даже на автомобиле. К сожалению, я не понимала, на каком языке они разговаривали, так как я, кроме русского языка, никакого другого не знала”.

\* \* \*

Однако “ифлийство” не было ни партией, ни масонской ложей\*. Оно было кастой. Когда Сталин узнал, что осенью 1941 года в “запасной столице” СССР – Куйбышеве для эвакуированных школьников из семей столичного бомонда организуются такие же особые школы, как в Москве, он в сердцах произнёс: “Каста проклятая!”.

А между прочим, до 1937 года, и даже после него, “каста проклятая” надеялась, что власть рано или поздно естественно и автоматически перейдёт к ней. Особые школы, особый “красный” лицей – всё, казалось, было “на мази”, но закончилось, по словам Елены Ржевской, “неосуществившейся иллюзией”.

Эти потенциальные управители государства во второй половине 30-х годов проглядели плавный поворот истории. Сталинская верхушка без громких деклараций отказалась от курса на мировую революцию, вполне резонно

---

\* Но Евтушенко в стихах, посвящённых старухам-вдовам, чьи высокопоставленные мужья были репрессированы в 1937 году, пишет так: “Старухи были знамениты тем, что их любили те, кто знамениты. Накладывал на брэнность птичьих тел причастности возвышенную тень невидимый масонский знак элиты”.

сообразив, что вместо “красной” Европы, во многом сочувствовавшей нам в 20-е годы, она, эта Европа, постепенно превращается в коричневый материк и готовится к “Дранг нах Остен”. А потому ставка на коминтерновскую часть советского истеблишмента бесполезна и даже опасна, учитывая, что она, эта часть, тайно молится на Троцкого. Отсюда следовало, что и дети “пламенных интернационалистов”, сгрудившиеся в ИФЛИ, лишены политического будущего. Когда политические процессы 1936–1937 годов вызревали в чреве истории, Сталин в это время уже запустил механизм по созданию новой государственной элиты из простонародья и сделал ставку на людей дела – Жукова, Чкалова, Шолохова, Стаханова, Косыгина, Байбакова, Судоплатова, Хренникова и им подобных. Надежды ифлийцев на то, что они скоро получат рычаги управления идеологией в свои руки, рухнули. А надежды эти были, ими питались даже такие “неполитизированные” люди, как Давид Самойлов:

*“Чего мы хотели? Хотели стать следующим поколением советской поэзии, очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся, на наш взгляд, предыдущее поколение”.*

Далее Дезик перечисляет “неудачников” – Твардовского, Исаковского, Симонова, Смелякова, Павла Васильева. О Мартынове, Прокофьеве, Тихонове и даже Заболоцком он не вспоминает. Ифлийцы не любили советских поэтов с русской национальной прививкой: *“Все они для нас были одним миром мазаны, – продолжает Самойлов свои воспоминания. – Их мы собирались вытолкнуть из литературы. Мы мечтали о поэзии политической, злободневной, но не приспособленческой”.*

*Нам казалось, что государство ищет талантов, чтобы призвать, пожать руки и доверить. Мол, действуйте, пишите правду, громите врагов, защищайте нас. Те не годятся. Но теперь есть вы. Входите, ребята, располагайтесь в литературе. Вот как мы представляли себе схему ближайшего будущего и тщательно готовили себя к высокой службе государственных поэтов. Разочароваться не успели. С этими идеями ушли на войну...”* “В наибольшей готовности находился Слуцкий. И долго ещё находился. Уже после войны сказал мне:

*– Я хочу писать для умных секретарей обкомов”.*

Конечно, эта программа уже была иной, нежели когановская – *“Но мы ещё дойдём до Ганга”.* Однако тот же Слуцкий, написавший в 50-е годы: *“готовились в пророки товарищи мои”*, вольно или невольно задним числом согрешил против исторической истины: в большинстве “товарищи” готовились не к тому, чтобы пророчествовать, а чтобы управлять и властвовать. Они, в сущности, жили теми же чувствами, что и предшествующее поколение, о котором Аделина Адалис в 1934 году с восторгом писала: *“Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актёрская жизнь воображения, “интеллектуальное пиршество” фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно стали “управителями”, “победителями”, “владельцами” шестой части земли”\**.

Одним словом, самые “продвинутые” ифлийцы готовы были строить социализм в отдельно взятой стране, но с условием, чтобы этот социализм был только для них. Идея “дойти до Ганга” зашла в тупик, куда её совершенно сознательно направил опытный стрелочник. А если кто-то из ифлийцев, к примеру Кульчицкий, еще приветствовал присоединение к СССР Прибалтики (*“Ведь на карте, оставленной Сталиным, на ещё разноцветной карте за Таллином пресс-папье покачивается, как танк”*), то выглядела подобная картина историческим абсурдом. Место Троцкого в стихах Кульчицкого занял... Сталин: *“Так встанут над обломками Европы прямые, точно Сталина доклад, конструкции, прозрачные, как макрофы, из неба, стали, мысли и стекла”.* Вот какими иллюзиями жили ифлийцы! Если не до Ганга, то хоть до Таллина дошли. Однако когда самые умные из них поняли, что произошло, что Таллин – это не факт “мировой революции”, то Сталину за подмену коминтерновской идеи

---

\* Однако в ту эпоху среди еврейства находились мыслители, на дух не принимавшие такого рода формулировки. “Все охамившиеся евреи, заполнившие ряды коммунистов, – все эти фармацевты, приказчики, коммивояжеры, недоучившиеся студенты, бывшие экстерны и вообще полуинтеллигенты – действительно причиняют много зла России и еврейству” (Пасманик Д. “Русская революция и еврейство”, стр. 198–199, Париж, 1923).

идеей патриотической они отомстили задним числом всеми средствами, которые остались у побеждённых.

\* \* \*

Конечно, у вождя, как и у всех смертных, были слабые места. Какие? Об этом даже Иисус Христос сказал: “Враги человеку близкие его”. Ну, понимать это надо в том смысле, что самые близкие человеку люди настолько отягощают человека своим кровным родством, что не дают ему осуществлять его высшее личное призвание в жизни.

Сталин, как человек, изучавший в духовной семинарии и Новый и Ветхий заветы, знал эту истину. Но что он мог поделать, этот владыка полумира, если ни жена, ни дети не понимали его? Светлана Сталина, учившаяся в Московском университете, где я не раз встречал её в коридорах филфака, всем своим складом натуры, привычками и образом жизни была близка “ифлийству”. К тому же в начале войны ИФЛИ объединили с университетом, ифлийские нравы обрели новую территорию и новых неофитов. Наверное, и роман шестнадцатилетней принцессы с сорокалетним режиссёром Каплером завязался на этом фоне. Уязвлённый отец после ссылки Каплера в Воркуту прилагал немало усилий, чтобы устроить семейную жизнь дочери, выдал её за сына Жданова, но она уже была поражена “вирусом порчи” и тянулась к светской жизни в ифлийском кругу. Там однажды она ненадолго нашла себе мужа – соплеменника Каплера по фамилии Мороз, сына начальника одного из лагерей ГУЛАГа, но вскоре разошлась с ним. Дальше события развивались по законам детективного жанра...

Однажды – это были уже 70-е годы – Дезик в застолье прочитал мне несколько стихотворений, объединённых одним женским именем:

*“А эту зиму звали Анна, она была прекрасней всех”, “как тебе живётся, королева Анна, в той земле во Франции чужой?”, “Как живётся, Анна Ярославна, в тёплых странах, а у нас зима”.*

Когда я вопросительно поглядел на него, маленький красноносый Дезик с самодовольной блудливой улыбкой уточнил, кто такая Анна:

– Светлана Сталина... когда-то у меня с ней был роман.

Именно тогда я понял, как эти немолодые сердцееды, соблазняя некрасивую рыженькую дочку вождя, подхихикивали над ним, мстя ему за крах своих ифлийских иллюзий, за “дело врачей”, за гонения на космополитов, мстили, радуясь бессилию всемогущего человека. Наверное, они думали, что он из-за любви к дочери не посмеет взбунтоваться и поневоле смирится с унижением... Но они плохо знали его. А подробности этого романа я узнал лет через тридцать после вышеупомянутого разговора с Дезиком, когда прочитал воспоминания Бориса Грибанова о Самойлове (“Знамя”, № 9, 2006). Грибанов рассказывает о том, как невестка Анастаса Микояна, с которой он работал в издательстве “Детская литература”, пригласила его с Дезиком на семейный праздник в Дом на Набережной. Именно там Самойлов и познакомился с “принцессой”. Грибанов повествует о том, что минут через 15 после знакомства и Дезик и Светлана уже были влюблены друг в друга, не обращая внимания на Микояна, они уже “целовались всасос”, потом Грибанов уехал, а дальше я цитирую отрывок из его воспоминаний, поскольку пересказывать такие откровения неловко:

**“На следующее утро не успел я войти в свой кабинет, как раздался телефонный звонок, и я услышал хихикающий голос Дезика:**

– Боря, мы его трахнули! (Дезик употребил другое слово, более ёмкое и более принятое в народе.)

– А я-то тут при чём? – возмутился я.

– Нет, нет, не спорь, я это сделал от имени нас обоих!”

Всё это происходило в конце 50-х годов. Сталин уже несколько лет как покоился в могиле. Бояться было некого. Дезику было лет под сорок, его новой пассии чуть меньше. Что бы ни писал Грибанов – трудно поверить в истинность и стихийность вечерних чувств со стороны ифлийца Дезика, если утром он докладывает своему другу, тоже ифлийцу и убеждённому антисталинисту:

*“Боря, мы его трахнули... я это сделал от имени нас обоих...”* Дезик мог бы ещё добавить – и от имени всего нашего еврейского народа, поскольку

ситуация зеркально копировала ветхозаветную историю о том, как еврейская девушка Эсфирь соблазняет персидского тирана Артаксеркса, чтобы тот раздал антиеврейский заговор своего министра-антисемита Хамана, что и произошло, если верить Ветхому завету. Но в этом сюжете роль соблазнительницы Эсфири играет поэт Дезик Кауфман, роль соблазнённого царя Артаксеркса – принцесса Светлана Сталина. А роль грозного Антисемита – врага еврейского народа – сам Сталин, уже лежащий в могиле, или тень его... Мсть совершилась. *“Мы его трахнули”*, – хоть посмертно, но отомстили, – докладывает Дезик-Эсфирь своему народу... Не просто её соблазнили, но через неё – ему отомстили.

В разведках всего мира есть агенты, которые работают “по женщинам”. Соблазняют их, чтобы куда-либо внедриться, крутят романы, чтобы вызнать вражеские тайны. Вот так один наш знаменитый чекист по фамилии Эйтингон закрутил в 30-е годы роман с некой испанкой Долорес – матерью Раймона Меркадера – будущего убийцы Льва Троцкого. Потом он докладывал своему начальству о том, что задание выполнено. Акция возмездия – завершена. Так и Давид Кауфман доложил своим: символическое возмездие тирану свершилось. На другой день об этом знала вся еврейская Москва. Михаил Светлов глуповато шутил в рифму: *“Трудно любить принцесс, ужасно мучительный процесс”*. То, что Самойлов на другой день после своей “победы” доложил о ней (не пожалев женской чести) друзьям-соплеменникам, было его личным делом. Но знаменательно другое: окружающее поэта еврейство восприняло его победу как общее торжество. Свидетельством тому был литературный вечер Самойлова, прошедший в Москве в конце 60-х годов. Когда один из выступавших (кажется, тот же Грибанов) сказал, что у Дезика в любовницах были три генеральских дочери и одна дочь генералиссимуса, сидевший в президиуме Зиновий Гердт (“печальный и умный”, по словам Дезика) вскочил, как на пружинках, и бросил в зал торжествующую и с его точки зрения остроумную реплику: *“Этим генералиссимусом был отнюдь не Чан Кай Ши!”* И зал, наполненный, в основном, “малым народом”, конечно же, взорвался аплодисментами... Пошлая сущность этого сюжета особенно стала явственна для меня, когда в воспоминаниях Самойлова я прочитал, как поэты двурушничали в начале 50-х годов – ещё при жизни Сталина: *“подрабатывали мы более или менее регулярно на радио. Слуцкий создавал политические композиции типа: “народы мира славят вождя”. Это ему не в упрек, я, например, начинал переводческую карьеру албанской поэмой “Сталин с нами” Алекса Чачи...”* Ну, у Самойлова дар артистического цинизма был естественен, а Слуцкого жалко. В наших глазах – я имею в виду Кожинова, Передреева, себя – у него была репутация честного и не способного на циническую иронию человека.

В апологетических воспоминаниях Грибанова о Самойлове кроме достоверных сведений содержится, к сожалению, немало пошлостей, а порой и просто глупостей. Женой Самойлова в то время была ифлийка Ляля Фогельсон, дочь известного московского кардиолога Лазаря Израилевича Фогельсона. Этот брак породнил две известные медицинские семьи Москвы – кардиологов и венерологов, но Борису Грибанову дал пищу для следующих размышлений:

*“В любви Дезика к Ляле присутствовал некий налёт тщеславия: смотри-те, какая у меня красавица жена! А может быть, где-то в подсознании мелькали тени Пушкина и Натальи Гончаровой? Отношение Давида Самойлова к Пушкину вообще требует особого разговора. Это были отношения сугубо личные, доверительные. Между ними всегда существовала духовная, поэтическая близость...”*

Дезик не раз амикошонски примерял себя к Пушкину – в стихах “Пестель, поэт и Анна”, где “Анна” была как бы и “королевой Анной”, и “принцессой Светланой”. А вспомним его известное изречение о себе и своих друзьях-ифлийцах, что все они “из поздней пушкинской плеяды”; есть у него и стихотворение о том, как Державин не желает никого рукоположить в “новые Пушкины” и, думая, кому передать лиру, присматривается к некоему безымянному пулемётчику (“с пулемётом я лежал своим”). Это были не такие уж безобидные шутки, коль его друзья начинали всерьёз сравнивать Лялю Фогельсон с Натальей Николаевной Гончаровой.

Но я, цитируя эти смешные пошлости, отвлёкся от сюжета. О племяннике Лазаря Израилевича Фогельсона и, следовательно, двоюродном брате Ляли, не уступавшей в красоте Наталье Гончаровой, Грибанов слагает целую оду

как о **“человеке необычном, образованном, крупном строителе, возглавлявшем трест по намывке плотин и получившем за это Сталинскую премию, что было в те годы явлением исключительным, учитывая его еврейскую национальность”**.

Если бы Борис Грибанов был жив, я бы позвонил ему и сказал: “Боря! Ну зачем ты так унижаешь еврейскую нацию! Ничего исключительного в том, что Сергей Борисович Фогельсон получил Сталинскую премию в эпоху борьбы с космополитизмом, “дела врачей” и ликвидации антифашистского еврейского комитета нет, поскольку в 1949–52 гг., то есть во время “разгула антисемитизма”, лауреатами Сталинской премии стали писатели-евреи: А. Барто, Б. Брайнина, М. Вольпин, Б. Горбатов, Е. Долматовский, Э. Казакевич, Л. Кассиль, С. Кирсанов, Л. Никулин, В. Орлов (Шапиро), М. Поляновский, А. Рыбаков (Аронов), П. Рыжей, Л. Тубельский, И. Халифман, А. Чаковский, Л. Шейнин, А. Штейн, Я. Эльсберг... Их число составляло почти одну треть от общего количества сталинских лауреатов, пишущих на русском языке. Сюда же надо прибавить режиссёров, получивших в те же “антисемитские годы” (1949–1952) те же Сталинские премии: М. Ромм, А. М. Роом, Р. Кармен, Л. Луков, Ю. Райзман, Г. Рошаль, А. Столпер, А. Файнциммер, Ф. Эрмлер. А если вспомнить, что Эрмлер получил 4 Сталинских премии, Ромм – 5, Райзман – 6, – то лучше не поднимать разговора о том, что Сталинская премия еврею в ту эпоху была “исключительным явлением”.

\* \* \*

Многие мои идейные противники в споре об ифлийстве пытались обвинить меня в том, что я зачисляю в эту семью литераторов, которые учились до войны в других вузах и не были студентами ИФЛИ. Но я всегда считал ифлийство не формальной принадлежностью к знаменитому институту, а особым мировоззрением молодого поколения второй половины тридцатых и начала сороковых годов.

Александр Межиров (1924 года рождения), конечно, до войны не мог по возрасту учиться в ИФЛИ, но по мировоззрению он типичный ифлиец. Впервые, он всегда боготворил пламенных рыцарей мировой революции. Даже в начале 80-х годов прошлого века Александр Петрович всё ещё клялся в преданности представителям этого клана:

*Но сегодня Соня Радек,  
Таша Смилга снятся мне...  
Слава комиссарам красным,  
Чей тернистый путь был прям...  
Слава дочкам их прекрасным,  
Их бессмертным матерям.*

Стихи органически вписывались в кровавое романтическое полотно, на котором красовались окуджавские “комиссары в пыльных шлемах”, палач казачества евтушенковский Якир, протянувший в будущее “гранитную руку из прошлого”\*, где в дымке времени “маячила на пороге” целая когорта комиссаров – Левинсон из “Разгрома”, Коган из “Думы про Опанаса”, Штокман из “Тихого Дона”, Чекистов-Лейбман из “Страны негодяев”.

Да и светский быт предвоенной молодёжной Москвы был у Межирова такой же, что у Самойлова, у Орловой-Либерзон, у Льва Копелева – кастовый, то есть “ифлийский”: об этом свидетельствует стихотворное воспоминание Межирова “Предвоенная баллада” с эпиграфом из Самойлова: “Сороковые роковые...” Вечеринка московской молодёжи, своеобразного истеблишмента (“на квартире замнаркома”) “рояль”, “полумгла”, “шёлковые блузки десятиклассниц”, “цыганский анапест” Ляли Чёрной, упоительный вальс Штрауса, и прямо с этого праздника жизни “под вальс весёлой Вены” дети Арбата или Дома на Набережной отправляются:

---

\* Е. Евтушенко аж в 1988 году, в разгар “перестройки”, ещё писал: “Продолжится революция и продолжится наш комиссарский род” (в стихотворной книге, изданной в Петрозаводске).

*Шаг не замедляя свой,  
Парами в передвоенный  
Роковой сороковой.*

И на войну межировский герой уходит от ипподромных страстей, от ифлийско-эпикурейского образа жизни (“меня писать учили Тулуз-Лотрек, Дега”, “изучен покер, преферанс и фрапп”), от отца с нэповскими привычками:

*Отец ворчал, что отрок не при деле,  
Зато колода в лоск навощена.  
И папироски в пепельницах тлели  
Задумчивым огнём... Как вдруг война.*

Разве не маркитантство (под стать Самойловскому рассказу о “солдатах на постое”) живёт в так называемых военных стихах Межирова:

*Мы на Верхней Охте квартируем,  
Две сестры хозяйствуют в дому,  
Самым первым в жизни поцелуем  
Памятные сердцу моему.*

*Очерк сердца зыбок и неловок,  
А стрела перната и мила —  
Даты первых переформировок,  
Первых постояльцев имена.  
.....  
“Поселились. Пили. Веселились”.  
Вот и всё. И больше ничего.*

Картина эта почти копирует сцену из поэмы Самойлова “Дальние страны”, где герой соблазняет молодую немку “водкой”, “папиросами”, “тушёной”... Да и подобно всем ифлийцам у Межирова была няня, и стихи о ней, выросшей в 20-е годы маленького сына юриста, весьма знаменательны:

*Всё, что знала и умела,  
Няня делала бегом.  
.....  
Родина моя Россия.  
Няня. Дуня. Евдокия.*

Улавливавший в стихах даже самую малую фальшь, Анатолий Передреев, прочитав это стихотворение, холодно заметил:

— Россия — няня? Ну слава Богу, что ещё не домработница.

Фальшивый романтизм, определявший перед войной и в самом её начале характер нашей военной поэзии, быстро, чуть ли не в первые месяцы войны, потерял свой пафос, иссяк, и лишь отдельные его вкрапления иногда встречаются у поэтов самого последнего военного призыва. Любопытно, что Окуджава, лишь в конце 50-х годов дополнивший “обойму” поэтов фронтового поколения, качнулся в сторону этого романтизма, когда тот уже стал глубокой историей:

*Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся,  
какое б новое сраженье ни покачуло шар земной,  
я всё равно паду на той, на той далёкой на гражданской,  
и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.*

С течением истории становится всё яснее, что гражданская война не менее страшна и губительна для народа, нежели любая другая. Стихи написаны в 1957 году, а кажется — по словам, интонации, настроению — будто они родились в предвоенное время. Поэт явно опоздал примкнуть к ифлийскому братству, но заменил его похожим понятием — “арбатство”, посвятив, в сущности, своей малой родине — Арбату — все стихи о войне, в которых основательно смягчил духовный максимализм старших братьев. Его мальчишки с Ар-

бата, трогательные и чуть-чуть водевильные, уходят на войну иначе, нежели целеустремлённые, поглощённые одной идеей герои Слуцкого и Когана, без эпохальных страстей и переживаний, симпатичной артистической походкой вчерашних десятиклассников, скорее “по-межировски”, нежели “по-слуцки”.

*Наш король, как король,  
Он кепчонку, как корону,  
Набекрень – и пошёл на войну.*

Без романтического фанатизма, как бы уходя с театра жизни на театр военных действий, на опасную прогулку.

*Вы слышите, грохочут сапоги,  
И птицы ошалелые летят,  
И женщины глядят из-под руки,  
В затылки наши круглые глядят.*

Они равно далеки от глобальных идей книжных романтиков и от живой народной стихии, они уходят на войну, как молодые симпатичные солдаты всех времён и народов: “На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат”; “Нас время учило: живи по-привальному, дверь отворя, товарищ мужчина, а всё же заманчива должность твоя”, – тревожное, эстетически впечатляющее действие, симпатичный маскарад, волнующий душу, это не флибустьерство, но арбатская хемингуэевщина – с обязательным присутствием не матерей, не жён, а “женщин” вообще. У солдат должны быть женщины. “А где же наши женщины, дружок?” А где женщины – там и ревность, и неверность, и измены, – словом, всё, что волнует солдата в последние часы перед разлукой.

*Вы слышите, грохочет барабан,  
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...*

Для Окуджавы война не расширила понятие родины. Он остался верен своему Арбату, его замкнутому братству и после войны:

*Ах Арбат, мой Арбат, ты моё отечество...*

Любопытно сравнить обстоятельства, при которых уходят на войну герои Слуцкого, Самойлова, Межирова, Окуджавы, с проводами новобранца из стихотворения крестьянина Фёдора Сухова. Уходит он на войну не от азартного наслаждения покером и преферансом, не от ипподромных страстей и арбатской радиолы... Нет, он прощается с другим миром:

*Провожали меня на войну,  
До дороги большой провожали.  
На село я прощально взглянул,  
И вдруг губы мои задрожали.*

*Ничего б не случилось со мной,  
Если б я невзначай разрыдался, –  
Я прощался с родной стороной,  
Сам с собою, быть может, прощался.*

*А какая стояла пора!  
Лето в полном цвету медовело.  
Собирались косить клевера,  
Рожь от жаркого солнышка млела.*

*Поспевала высокая рожь,  
Наливалась густая пшеница,  
И овёс, что так быстро подрос,  
Прямо в ноги спешил поклониться.*

*Заиграла, запела гармонь,  
Всё сказала своими ладами,  
И платок с голубою каймой  
Мне уже на прощанье подарен.*

*В отдалении гром громыхнул,  
Весь закат был в зловещем пожаре...  
Провожали меня на войну,  
До дороги большой провожали...*

Здесь мы видим совершенно иное отношение к жизни и войне: никакого энтузиазма, никакого лихорадочного возбуждения, никакой романтической жертвенности, никакого инфантилизма. (“Подвиг нас мучил, как жажда”, “Пойду на фронт любой”, “Боев за коммуны мы смолоду ищем” и т. д.) Юноша, словно бы генами всех живущих в нём поколений, ощущает, что от полнокровной жизни, от счастливого труда на родной земле его оторвала сверхчеловеческая сила, несущая только гибель и горе. За душой у него нет никаких иллюзий, никаких теорий, которые помогли бы ему в страшный час разлуки с родиной, невестой, матерью. “Я прощался с родной стороной, сам с собою, быть может, прощался”, “губы мои задрожали”, и зарево войны для него никакой не отблеск мировой революции, а “зловещий пожар”.

Ну что было взять с питомцев ээпа и певцов Мировой Революции! Крестьянские же их ровесники, выжившие во время поволжского голода 1921–22 года и последующего голода эпохи коллективизации, нервным горячкам подвержены не были, но шли, послушные долгу, на призывные пункты, а оттуда, уже мобилизованные, нестройными рядами вливались в действующую армию.

Всю войну Фёдор Сухов отвоевал как истребитель немецких танков: сначала с противотанковым ружьём, а потом как наводчик противотанкового орудия. Больше двух-трёх месяцев, по статистике, эти смертники на фронте не жили. Сухову повезло: он дожил до Победы.

А картина его ухода на войну – естественна и правдива, в отличие от высокопарных заклинаний ифлийцев. Очень точно изложил суть стихотворения Ф. Сухова Вадим Кожинов:

*“В чём тайна этого стихотворения? Именно в том, что перед нами не “картина”, а цельное огромное переживание. Родина, народ провожают своего сына на войну. И отдельные лица уже неразличимы. Есть стихия Родины, в которой всё слилось. Но если взглядеться, угадываешь и все слагаемые этой стихии: “Губы мои задрожали” и “Ничего б не случилось со мной, если б я невзначай разрыдался...” Сквозь это видишь идущую рядом плачущую мать и скорбное лицо отца. А вот и голос друга – гармонь, которая “всё сказала своими ладами”. И девушка, ибо, конечно, именно она подарила “платок с голубою каймой”. И наконец, рожь, пшеница – то богатство, то добро и красота, в которые веками укладывались и труд, и любовь односельчан, так что это как бы уже живые существа, кланяющиеся в ноги уходящему молодому хозяину”.*

Мальчишка, – а возраст героя отчётливо выражается в этих “вдруг задрожавших губах”, – прощается с Родиной, уходит в зловещий пожар войны. Что ж, может, слаб и боязлив он, если готов невзначай разрыдаться? Герой не сияет на прощание показной белозубой улыбкой. Он по-русски откровенен и открыт и не соблюдает “форму”. Но совершенно ясно: больше уже не дрогнут ни губы его, ни рука. Здесь, на пороге родного дома, он уже заранее как бы пережил и преодолел страх смерти, “попрощался сам с собою”.

Это – юноша другой походки, другой породы, нежели герой самойловской либо окуджавской лирики. Откликнется ли сердце окуджавского солдата на слова песни, от которой до сих пор, когда слышится её трагическая и величественная мелодия, по спине идут мурашки:

*Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой.*

...Вспоминаю 60-е годы, московские вечера поэзии, где выступал Булат Окуджава (“Булатик”, как называла его Белла Ахмадулина). Он выходил на сцену с гитарой наперевес груди и объявлял с тонкой, иронической улыбкой: – “Песенка американского солдата”!



*Возьму шинель и вещмешок и каску,  
в защитную окрашенную краску.  
иду себе, играя автоматом,  
как славно быть солдатом, солдатом.*

Совсем другая у него походка, нежели у крестьянских поэтов — артиллериста Фёдора Сухова, командира зенитной батареи Сергея Викулова, истребителя танков Михаила Борисова, сержанта пехоты Виктора Кочеткова и многих-многих других труженников и смертников войны, которые в сумеречный снежный день 7 ноября 1941 года прошли тяжёлой, гулкой поступью по Красной площади, навстречу непобедимой доселе фашистской армаде. . .

Булатик извлекает из гитары аккорды и поёт хриплым тенорком на подмостках Политехнического музея:

*А если что не так — не наше дело,  
как говорится, родина велела,  
иду себе, играя автоматом. . .*

Вроде бы симпатичный солдат из какого-нибудь иностранного легиона. Но помню на этих поэтических вечерах лица “детей XX съезда” — улыбки, перемигивания, восторженные взгляды — “Во как врезал наш Булатик этому милитаризованному чудовищу, этим роботам! И молодец, что цензуру обманул: песенка американского солдата! Но мы-то понимаем, о ком он поёт, кого в виду имеет!”

\* \* \*

А вот судьба ещё одного классического стопроцентного ифлийца.

В 2006 году я вычитал из “Еврейской газеты” (№ 45–46), что в Германии произошло “знаковое” литературное событие: католическому пастору из Швейцарии Хансу Кюнгю была вручена международная премия с девизом “За мир и права человека” имени Льва Копелева. В этой же заметке сообщалось, что существует “Форум Льва Копелева”... Эх, знали бы немецкие правозащитники автобиографию Льва Залмановича, увековеченную им же самим в книге “Хранить вечно”!

В конце 20-х годов наш будущий европейский правозащитник распространял в Москве листовки, “протоколы и резолюции подпольного центра (троцкистской) оппозиции, проекты воззваний, шифры, списки арестованных” (“Хранить вечно”, стр. 267).

Попал в ОГПУ; поскольку был молод — не осудили, отпустили. Во время коллективизации уже проводил “сталинскую линию партии” и раскулачивал русскую деревню. Перед войной поступил в ИФЛИ. В годы войны служил майором в политуправлении фронта в десятках километров от передовой и как “германист” сочинял опять же листовки, призывающие немцев сдаваться в плен, а когда вошли в Германию, ездил на агитмашине. В конце войны стал ярым поклонником Эренбурга, призывающего уничтожать “немецких самок”, а после победы разрабатывал меры отмщения немцам: “расстрелять придётся, может быть, миллиона полтора” (“Хранить вечно”, стр. 223). Во время наступления наших войск в Германии вёл себя, как классический “маркитант” из стихотворения Самойлова: “пили с какими-то бойкими панёнками”, “Все эти дни и ночи мы пировали, пели, танцевали” (до окончания войны было ещё несколько месяцев!); “Горел костёр, благоухало жареное мясо... На столике теснились разнообразные бутылки — вина, коньяки, шнапс, — коробки и банки консервов... Мы пировали не спеша”, “мы ели до отвала, подолгу спали” (“Хранить вечно”, стр. 183). А в перерывах между гульбой и застольями наш маркитант и специалист по германской литературе немного мародёрничал: в немецких особняках “обнаружил великолепную библиотеку... Часть библиотеки погрузил в кузов”. Будущий гуманист и правозащитник, имени которого сейчас в Германии существует международная премия, обнаружив весной 1945 года в одном из взятых нашими войсками посёлков тяжело раненную немецкую женщину, и не подумал о том, чтобы помочь ей, разыскать медиков... Нет, он начинает осуществление своего плана по расстрелу “полтора миллио-

нов” немцев. Ну, конечно же, как политработник, чужими руками, и отдаёт приказ своему подчинённому: *“Сидорыч, пристрели! – Это я сказал. Приказал от бессилья”*. Таков автопортрет гуманиста, поклонника Гёте и Шиллера, выпускника “Красного лица” – ИФЛИ... Так что, когда Самойлов писал о себе и о своих ифлийских товарищах: *“Мы в сорок первом шли в солдаты и в гуманисты в сорок пятом”* – он был неточен: в сорок первом поэт уехал в Самарканд, а в какие гуманисты “в сорок пятом” пошёл его друг Копелев – судите сами...

Так же, как и Копелев, идеями и лозунгами Троцкого и его соратников в конце 20-х годов был увлечён настоящий мученик и страдалец эпохи Варлам Шаламов. Но, в отличие от молодого Копелева, “ифлийца” из Шаламова не вышло – в 1929 году его посадили всерьёз и надолго. Три года лагерей и пять лет ссылки. Сам Шаламов об этом вспоминал так: **“Приговор был громовой, оглушительный, неслышанный по тем временам... Агранов и Черток решили не стесняться с “посторонним”... Только концлагерь. Только каторжные работы. Только клеймо на всю жизнь, наблюдение на всю жизнь”**.

Нет сомнений, что под словом **“посторонний”** Шаламов подразумевает слово “русский”, потому что он знал, что все его “подельники” – молодые троцкисты “еврейского происхождения” (вроде Копелева) через полгода после процесса вернулись в Москву. И тем лживее воспринимаются кадры из недавно показанного по ТВ 12-серийного фильма “Завещание Ленина” о судьбе Шаламова, когда мы видим, что все его мучители: следователи, конвойные, инспектора ГУЛАГа – русские садисты, бьющие сапогами в лицо священников, насилующие женщин, расстреливающие в затылки заключённых... Словом – вологодский конвой, куда ни глянь, русские держиморды. Один только на его лагерном пути встретился хороший начальник Эдуард Берзинь – да и тот латыш. Да ещё один симпатичный ээк встречается Шаламову в лагере, конечно же, еврей. А то, что “постороннему”, то есть русскому Шаламову два еврейских чекиста, стоявших на вершинах карательной власти, Агранов и Черток припаяли три года лагерей и пять лет ссылки, с чего и начались его круги ада, – об этом в сценарии, написанном сегодня их соплеменником Арабовым, конечно, ни слова.

Кстати, перед демонстрацией фильма в июне 2007 г. телевидение устроило встречу съёмочной группы, куда был приглашён друг Самойлова по ИФЛИ Григорий Померанц, профессиональный диссидент. Так вот, на этой встрече престарелый ифлиец громогласно на всю Россию заявил, что при Сталине сидело в лагерях 19 миллионов человек и 7 миллионов политических было расстреляно.

Все историки, изучавшие сталинскую эпоху после того, когда были обнародованы документы, касающиеся деятельности ЧК-ОГПУ-НКВД, организации ГУЛАГа, сходятся во мнении, что с 1921 по 1956 год было арестовано и сослано в лагеря по политическим мотивам не более 2,5 миллиона граждан, и что за этот период было вынесено около 700 тысяч смертных приговоров, но и они не все были приведены в исполнение.

Можно лгать, но не так чудовищно, преувеличивая число заключённых в семь раз, а число расстрелянных в десять!

Когда я услышал этот ифлийско-диссидентский бред Григория Померанца, то подумал: евреи придумали в Европе закон, по которому все, кто ставит под сомнение сакральную цифру Холокоста – 6 миллионов уничтоженных в Европе евреев – и пытаются, порой весьма убедительно, доказать, что их было не 6 миллионов, а 5 или 3, все эти историки подлежат уголовному преследованию. И несколько таких процессов в Европе уже прошло. Нельзя, оказываясь, искажать численность еврейских потерь во времена европейского фашизма и европейского антисемитизма.

А чем мы хуже? Мы тоже можем принять похожие законы, по которым за куда более чудовищное искажение цифр, обозначающих наши советские, российские и даже русские потери, должно преследовать клеветников и фальсификаторов. Прецедент – европейский закон о Холокосте, есть. Так почему же нам не воспользоваться этой юридической нормой? Но тогда на скамью подсудимых надо сажать “ифлийцев” – Померанца и Солженицына, целую армию лжеисториков и журналистов, кучу шестидесятников...

\* \* \*

Раиса Орлова-Либерзон в своей книге «Воспоминания о непрошедшем времени» с восхищением вспоминает, что когда началась финская война, имеющая лишь одну цель: отодвинуть перед грядущей страшной войной с объединённой фашистской Европой границу от Ленинграда — второй столицы страны, она в какой-то компании встречала новый 1940 год, и молодая девушка (имя её Орлова не называет) подняла тост «за наше поражение!». Орлова восхитилась: «её (эту девочку. — **Ст. К.**) воспитала собственная трезвая мысль, зрячие глаза, способность задавать вопросы».

Такого рода настроения не были исключительными в кругах тайной анти-сталинской касты. Известная революционерка Анна Берзинь, с чьим уголовно-политическим делом я познакомился, работая над книгой о Есенине, уже в 1935—37 годах на сборищах «касты», происходивших на квартире у неё и её мужа, польского еврея Бруно Ясенского, шла много дальше:

Из дела А. Берзинь: «Как видно из агентурных данных, обвиняемая вела резкую пораженческую антисоветскую пропаганду. Она говорила: «Нет, уж лучше открыть фронт фашистам, чем воевать»; «Я воспринимаю эту власть, как совершенно мне чуждую. Сознаюсь, что я даже злорадствую, когда слышу, что где-то плохо, что того или другого нет... За существующий режим я воевать не буду»; «В своё время, в гражданскую войну, я была на фронте и воевала не хуже других. Но теперь мне воевать не за что... Все мои товарищи по фронту арестованы, а я буду воевать? Нет, уж лучше открыть фронт фашистам...»; «Мы сами, это мы сами во всём виноваты. Это мы расстреляли наших друзей и наиболее видных людей в стране... В правительстве подбираются люди с русскими фамилиями. Типичный лозунг теперь — «мы русский народ»; «Всё это пахнет черносотенством и Пуришкевичем».

Неслучайно Р. Орлова в своей книге воспоминаний пишет об А. Берзинь: «В 1956 году у меня возникли кратковременные приятельские отношения с Анной Берзинь — вдовой Бруно Ясенского, вернувшейся тогда из лагеря». Люди этого склада — независимо от того, какие поколения они представляли — безошибочно находили друг друга.

Мысли Раисы Орловой-Либерзон порой почти дословно перекликаются со словами Анны Абрамовны Берзинь. И как бы продолжают их, хотя в 30-е годы они не знали друг друга:

«В годы войны закончился процесс, начатый раньше. СССР становился Россией — великой державой. Были введены погоны, офицерские звания, раздельное обучение, новый закон о браке, распущен Коминтерн, «Интернационал» заменён новым гимном... Гасли последние отблески костров семнадцатого года. Большинство людей, как-либо воплощавших революционные порывы, были ещё раньше уничтожены во время большого террора». (Из воспоминаний Р. Орловой.)

А после войны в «Общество культурных связей с заграницей», где работала Орлова, по её словам, «пришли мужчины самоуверенные, невежественные, украшенные (?! — **Ст. К.**) боевыми орденами», «начальники новой формации», «они Европу завоевали, что им захудалый ВОКС», — иронизирует благополучная ифлийская функционерка... Да что там Орлова! И в наше время бывшие ифлийцы, сегодня 90-летние старики, даже побывавшие на фронте, до сих пор плачут, словно евреи на реках вавилонских, об утрате ифлийского счастья и о том, что после войны места, им предназначенные, начали занимать тупые, грубые, малообразованные аборигены, то есть русские. 23 февраля 2005 года я услышал по радиостанции «Свобода» беседу корреспондента с А. Черняевым — самойловским однокашником по московской элитной школе и бывшим помощником М. С. Горбачёва. Передача была посвящена Дню Советской Армии (защитника Отечества) и будущему 60-летию Победы.

Вот что я успел записать за «ифлийцем», закончившим войну, естественно, в крупной должности:

«Я не воспринимаю 9 Мая как национальный праздник... Школа у нас была особая. Из 15 человек нашего класса было на войне — Дезька — будущий гениальный поэт, Лёва Безыменский — великий журналист, и я — заместитель начальника штаба. Остальные работали в тылу. (Не слабо! — **Ст. К.**)

Пришло пополнение, ребята с волжских берегов, из мещанской среды,

невежественные. Я не воспринимаю 9 Мая как национальный праздник, это сплошной пиар.

Таких, как наша – три спецшколы было в Москве, мы в вузы поступали без экзаменов”.

Вот так относились ифлийцы к победившему народу и к людям простонародья. Это брезгливое нэповское барство в мировоззрении Давида Самойлова высмеял его ровесник и однокашник по ИФЛИ (заканчивал его экстерном) Александр Солженицын, после того как прочитал посмертную книгу поэта “Перебирая наши даты”. Самойлов, по словам А. Солженицына, “очень обозлён на русских “почвенников”, часто пользуется бессмысленной кличкой “русситы”: они “из города, может быть, из провинциального, захолустного”, и именно там они “трагедию (1937 года?) пересидели”. (Много же знает Самойлов о трагедии малых городов России за большевистское время. Сунься-ка туда, “пересиди”). “В 37-м году к власти рванулся хам, уже достаточно к тому времени возросший полународ”. “И особенно выделяет именно “ответственность за 37-й год” (не сопоставляя ответственность за 1929–33), после которого утверждает, что “власть у нас народная” и “народ лучше всего сохранился” (жирно выделенные фразы в этом отрывке принадлежат Самойлову).

Защищает Солженицын от злых и завистливых самоейловских оценок В. Шукшина:

“Например, о В. Шукшине можем прочесть такое: “злой, завистливый, хитрый (?), не обременённый культурой” (поживи его жизнью), отчего и “не может примкнуть к высшим духовным сферам города”.

Особенно возмутило Солженицына следующее рассуждение Давида Кауфмана о русском человеке:

“Мужик нынешний... спекулировать и шабашить готов и... делать это будет, пока не образуется в народ. А делается это тогда, когда он <...> научится уважать интеллигенцию”.

Этот самоейловский высокомерный тон привёл Солженицына в ярость: “Мимоходом о словечке “шабашить”. Столичный интеллигент, служа в любом идеологическом тресте, получал солидное в сравнении с мужиком вознаграждение – и это никогда не называлось “шабашить”. Но стоит простолюдину искать заработать что-нибудь выше колхозных палочек или коммунальному слесарю попросить у хозяина квартиры тройчок – это уже “шабашить”. Так вот ныне “духовное начало” в изобилии извергается нами из телевидения – и, кажется, не “мужики” всю эту мерзость совершают. И не они убеждали нас в спасительности гайдари-чубайсовского грабежа. И не мужики, большей частью, создавали коммерческие банки, гнали миллиарды долларов за границу, а сами – на Канарские острова отдыхать. Так кто же это – шабашит?”

Немало глупостей наговорил за свою длинную жизнь Александр Исаевич, но в данном случае спасибо ему, что заступился он, нынешний русский барин, за простонародье, оболганное ифлийцами.

В конце своих размышлений о судьбе и творчестве Д. Самойлова Солженицын не оставляет камня на камне от его дилетантских размышлений о народе:

“Народ, утратив понятия, живёт сейчас инстинктами, в том числе инстинктом свободы”, – пишет Самойлов, а Солженицын комментирует: “(Вот тут он сильно промахнулся: народ живёт инстинктом устойчивого порядка жизни, а инстинктом свободы, “свободы вообще” живёт только интеллигенция)”.

На протяжении всей жизни Самойлов сохранял глубоко вошедшее в его мировоззрение “нэпмановско-ифлийское” отношение к простонародью, к почвенникам, к деревенской прозе... Из осторожности он не высказывался на эти темы при жизни, и мы ничего не знали о такого рода его убеждениях, но в 2004 году вышла его переписка с Лидией Корнеевной Чуковской, которая проясняет многое.

В письме от 24.07.1977 Чуковская сообщает Самойлову своё впечатление о романе Валентина Распутина “Живи и помни”:

“Да ведь это морковный кофе, фальшивка с приправой дешёвой достоевичины. Я никогда не была на Ангаре, но чуть не на каждой странице мне хотелось кричать: “Не верю!” – по Станиславскому.

Книга столь же мучительно безвкусна, как сочетание имени с фамилией автора: изысканного имени с мужицкой фамилией. Он, видите ли, Valentin! <...> пейзажи ломаются на сцене с фальшивыми монологами”.

В ответном письме Самойлов – не только соглашается с Чуковской, но продолжает и по-своему дополняет её “антираспутинские” заклинания:

“Это литература “полународа”, “часть Вашего письма о Распутине читал нескольким друзьям. Они в восторге”. Фамилии друзей разбросаны на страницах писем: Копелевы, А. Якобсон, Вл. Корнилов. Конечно, эти – были в восторге...

“Об этой прозе, о “деревенщиках”, я сейчас много думаю. И, кажется, приближаюсь к Вашей точке зрения. Что-то с их правдой не так” (февраль 1978 г.)

“Никто – ни Зощенко, ни Олеша, ни Бабель, ни Булгаков не могли бы угадать, что лет через тридцать у нас возобладает литература “деревенская” и теперь уже “реакционно-романтическая”.

Последняя фраза как будто бы взята из печально знаменитой статьи Александра Яковлева “Против антиисторизма”...

Лично у меня с Дезиком в те времена отношения были почти дружескими. Работая в 1960–63 годах в журнале “Знамя”, я напечатал цикл его стихотворений, а в “Юности” рецензию на книгу “Второй перевал”, и этот поступок Дезик оценил с благодарностью, тем более что велеречивых эпитетов я не пожалел: “Самойлов – один из тех поэтов, которые пытаются найти в окружающем мире гармонические связи и сопротивляются распаду и бессмысленности жизни”. Такие вот были в рецензии красивые фразы. Дезик знал, что я увлечён стихами Слуцкого и благодарен ему за помощь в издании моей второй книги “Звено”, редактором которой был Борис Абрамович. Однако Дезик тем не менее предложил мне игру, которая заключалась в том, чтобы увести от Слуцкого его способного ученика, то есть меня, к нему, к Дезику. Мы, походявая, обсуждали этот план нашей “измены” Борису Абрамовичу, и когда последний узнал об этом, то, улыбаясь в усы, подписал мне свою очередную книжку: “Поэту Станиславу Куняеву – отпускная (согласно прошению). Борис Слуцкий”.

До этого все свои книги Слуцкий подписывал мне одинаково: “В надежде славы и добра”.

Дезик же, узнав, что я избавился от “крепостной зависимости”, обрадовался и на книге “Весть” поставил автограф: “Стасику – от учителя, который не испортил дела” (перефразировав свою строку: “не верь ученикам, они испортият дело”). А книгу “Равноденствие” сопроводил шуточной надписью: “Стаху с Галей эту книжку непринуждённую без излишку. С любовью. Д. Самойлов”.

\* \* \*

Как мне помнится, на еврейские темы мы с Дезиком всерьёз ни разу не говорили. Видимо, оберегая наши отношения. Я не знал, как он отнесётся к такому разговору. В стихах его, в отличие от стихов Слуцкого, почти не было каких-либо прямых мыслей из этой сферы. И лишь сейчас, когда вышли все книги, мною вышеупомянутые, многое проясняется. Весьма важны воспоминания Дезика о еврействе его отца:

**“Он всегда удивлялся, когда его еврейские коллеги жаловались на преимущество русских при распределении должностей и званий. Еврей министр или военачальник казались ему явлением скорее неестественным, чем естественным. А мне он говорил неоднократно, что в русском государстве должны править русские, что это естественно и претендовать на это не стоит”** (стр. 56).

Одним словом, умный еврей Самуил Кауфман жил “по Розанову”, который считал, что евреям в Российском государстве можно находиться лишь у подножия трона, но ни в коем случае не претендовать на него и на высшие государственные должности.

Дезик, видимо, понимал эту историческую реальность и по-своему даже осуждал соплеменников, ставших то и дело во время и после революции на рушаты этот неписанный закон:

**“Тут были и еврейские интеллигенты, или тот материал, из которого вырабатывались (...) многотысячные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточённых, одурённых властью... Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали”** (из воспоминаний Д. Самойлова).

Здравые суждения. Но в поэзии этой темы Давид не касался. Солженицын был прав, когда написал: *“Еврейская тема – в стихах Самойлова отсутствует полностью”*. Однако из совершающейся вокруг тебя истории, из окружения не выскочишь, “жить в обществе и быть свободным от общества нельзя”, как говорил классик. И конечно же, Самойлов не мог, то ли в силу давления среды, то ли из-за особенностей своей легкомысленной природы обладал убеждениями отца. С волками жить – по-волчьи выть. Законы стаи, компашки, среды властно давили на гибкую психику поэта.

\* \* \*

И тем не менее остаться в истории литературы русским поэтом Дезик жаждал. В середине 90-х годов я получил по почте из Америки книгу мемуаров моего бывшего знакомого литератора Давида Шраера-Петрова “Москва златоглавая”. Я его помнил по 70-м годам и был с ним если не в дружеских, то и не во враждебных отношениях, и “Москву златоглавую”, посвящённую цэдээловской писательской жизни, прочитал с интересом. Поэтом Давид Петров был никудышным, но тщеславным, и сущность его воспоминаний заключались в том, что советская власть не давала ему выразить полностью его еврейство и тем самым душила как поэта... В главе о Давиде Самойлове он подробно вспоминает, как пытался разжечь в душе Дезика огонёк еврейского национального самосознания, как Дезик отчаянно сопротивлялся его оголтелому натиску и как, в конце концов, дело кончилось их полным разрывом и отъездом Петрова в Америку, где его “национальное самосознание” расцвело пышным цветом. А отношения Шраера с Самойловым в “Москве златоглавой” изображены так:

*“Я заговорил с ним о реальной возможности писать и публиковать в предполагаемом русскоязычном еврейском журнале стихи и прозу русских писателей еврейского происхождения... Самойлов сделался грустен и всё оглядывался на Пушкина, хотя мы были почти у Никитских ворот. Я не унимался: “Ведь у каждого из нас, начиная с Маршака, Сельвинского, Алигер, Слуцкого, есть такие стихи...” “У меня нет таких стихов, Давид”, – сказал он и поспешил к остановившемуся троллейбусу...”*

А когда Петров в 1979 году подал документы на выезд из СССР и его книгу вычеркнули из планов издательства, у него потребовали вернуть писательский билет и лишили права покупать книги в писательской лавке, то он бросился за помощью и советом к Самойлову. Но Дезик холодно сказал ему: *“А на что вы рассчитывали, Давид? Вы разорвали с системой. Система не прощает...” Он проводил меня до порога”*.

Настоящий же момент истины в их отношениях произошёл незадолго до отъезда Шраера на Запад. Он приехал попрощаться с Дезиком в Пярну, где в этот день проходил поэтический вечер Самойлова, после вечера они случайно встретились.

*“В этот момент из кафе выкатился Самойлов в сопровождении актёра Михаила Козакова. Я кивнул Самойлову, не желая останавливаться, потому что он был в тяжёлом подпитии. Но, предупредив этот манёвр, Дезик схватился за мой рукав и окликнул Козакова: “Миша, ты знаком с Петровым-Шраером?” Козакову было стыдно, он не хотел скандала. Мы были знакомы, хотя и шапочно: “Мы знакомы, Дезик”, – уводил он Самойлова подальше от греха. “Вы знакомы? Прекрасно, Миша, может быть, ты знаешь, что этот поэт собирается печатать стихи в Израиле или Америке. Мало ему было России! Но поверь мне, Миша, у него и там не будет успеха! Слышите, Давид, у Вас ничего не выйдет, ни в Америке, ни в Израиле, как не вышло в России!” Козаков с трудом увёл разбушевавшегося Дезика”*.

Но Дезик оказался прав. Ничего не вышло. Шраер был помешан на том, что искал у всех своих знакомых, по-человечески приветливо относящихся к нему, имевших неосторожность похвалить его стихи (порой просто из вежли-

вости), каплю еврейской крови. А уж ассимилированных и желавших искренне вписаться в русскую литературу поэтов еврейского происхождения Шраер-Петров бесцеремонно пытался полностью окрестить в еврейскую веру, сделать отказниками и даже убеждёнными сионистами. Мало того, что он решил поработать над подобным перевоспитанием Дезика, – как явствует из его мемуаров, Шраер даже во мне заподозрил присутствие семитской крови только лишь потому, что моя мать – чисто русская женщина, дочь крестьянки из калужского села Лихуны Дарьи Щеголевой и отца из деревни Петрово Никиты Железнякова, показалась ему по внешнему виду еврейкой, и он даже воспел её чуть ли не библейскую красоту в своей книжечке “Москва златоглавая”, а меня осудил за то, что я после смерти матери “освободился” от ее “влияния”: *“Со смертью матери оборвалась его связь с чем-то очень важным”, “Она лежала в гостиной на тахте, темноволосая, пожелтевшая, с красивым чётких линий лицом, похожая чем-то на мать Василия Аксёнова... Умирала от рака”.*

Здесь всё – большие фантазии Шраера. Красавицей моя мать не была; в Москве лежала в моей квартире после того, как сломала шейку бедра; на мать Аксёнова Евгению Гинзбург она ничуть не была похожа; и не от рака она умерла, а потому что в Калуге мыла распахнутые окна, упала по неосторожности из окна со второго этажа и сильно разбилась. А что касается её якобы еврейского происхождения, в чём уверен Шраер, то пусть он прочитает в этой статье, как калужская девочка служила домработницей в богатой еврейской семье во времена нэпа.

Но Петров-Шраер рвёт на себе волосы с горя: как это Стасик, у которого мать похожа *“на мать Аксёнова”*, выступил на дискуссии “Классика и мы”: *“Весь ЦДЛ гудел. Он выступил с шовинистических позиций. Я встретил Куняева через несколько дней в коридоре секретариата СП СССР. “Стас, что ты такое там говорил! До чего ты дошёл! Вспомни о своей матери!” – закричал я”.* *“Вы не понимаете моей позиции, – ответил мне Стасик, – пришиваете мне вульгарный антисемитизм, а это – защита русской литературы”.* – *“От кого?”* – *“От тех, кто её разрушает вот уже 60 лет!”* – *“Ты бы лучше защитил её от цензоров”*, – закричал я”. По глупости своей Шраер переживал случившееся горько и безутешно.

\* \* \*

Но отвергнуть притязания Шраера Самойлову было легче, нежели стать подлинно русским поэтом, хотя он многое понимал умом, о чём свидетельствует одна из его дневниковых записей:

*“Сионисты или космополиты со своим эгоцентризмом в сто раз честнее, чем наши евреи-диссиденты со своими клятвами в любви к России и русской культуре и со своими жалкими словами о том, что не хотят, чтобы обижали их детей. Для русского еврея обязанность быть русским выше права на личную свободу”...*

Однако ум умом, а кровь кровью, и окружение окружением.

Вот как он вспоминает о своём школьном дружеском окружении 30-х годов:

*“Феликс Зигель, Лиля Меркович”, “У Лили бывал Юра Шаховской, Люся Толалаева, Илья Нусинов, заходила красивая и очень большая Мила Польстер, Анна Пользен, заглядывал Лёва Безыменский”.*

О предвоенном круге ближайших друзей Самойлова я уже вспоминал выше. На фоне всей этой ифлийской компании русский Сергей Наровчатов и украинец Михаил Кульчицкий выглядели, как две белые славянские вороны.

После войны состав самойловского окружения в силу естественных причин сменился. Не сменились только главные принципы – национальный подбор кадров и кастовая замкнутость.

Дезик с нежностью перечисляет несколько обновлённый состав движения, которому не удалось в полной мере осуществить довоенную программу единения с властью: известный радиожурналист Юра Тимофеев с женой поэтессой Вероникой Тушновой; драматурги А. Зак и Исая Кузнецов, писавшие дуэтом. Был ещё один дуэт – Коростелёв и Михаил Львовский. *“Обе эти пары насмешливый Борис Слуцкий называл полудраматургами”.* В радушной богемной квартире Юры Тимофеева завсегдагатаями были старые друзья изда-

тель Борис Грибанов с женой Эммой, переводчик Леон Тоом тоже с женой Натальей Антокольской, дочерью поэта, в просторечии именуемой просто Кипсой. Вся эта тусовка собиралась в центре Москвы, рядом со снесённой сей-час закусочной “Эльбрус” и с Литературным институтом. Из “арийцев” был один эстонец – Леон Тоом, который вскоре покончил жизнь самоубийством. Об этой тусовочной компашке Дезик вспоминает так: “В годы разобщения она была островом дружбы и доверительности”.

*Мы пели из солдатской лирики  
и величанье лейб-гусар –  
что требует особой мимики.  
“Тирлим-бом-бом”, потом – “по маленькой”.  
Тогда опустошались шкалики;  
мы пели из блатных баллад  
(где про шапчонку и халат)  
и завершали тем домашним,  
что было в собственной компании  
полушутя сочинено...*

Конечно, туда заходил и мэтр – Павел Антокольский, высоко ценимый средой своих почитателей. Самойлов выделяет его, как одну из опор их духовной жизни.

**“Он был умён, высоко одарён, открыт, щедр, прост. Он являл собой удивительный тип интеллигента, уцелевшего в самые страшные годы”.**

Не знаю, лукавил Дезик или не знал, что Павел Антокольский вложил свой весомый вклад в создание атмосферы страшных для ифлийцев годов – 37-го и 38-го, когда издал книгу стихотворений “Ненависть”.

В ней что ни стих – то “антиифлийский” политический перл: Сталин произносит клятву над гробом Ленина, Сталин – лучший друг пионеров, Сталин – избранник народа, и всё это завершается поэмой “Кощей”, в которой поэт объясняется в любви к НКВД, в ненависти к врагам народа и требует:

*Чтобы прошёл художник школу  
Суда и следствия и вник  
В простую правду протокола,  
В прямую речь прямых улик,*

*Чтоб о любой повадке волчьей  
Художник мог сказать стране,  
И если враг проходит молча,  
Иль жмётся где-нибудь к стене,*

*Чтоб от стихов, как от облавы (! – Ст. К.),  
Он побежал, не чуя ног,  
И рухнул на землю без славы,  
И скрыть отчаянья не мог.*

Не мог этого Дезик не знать, но, как водится, корпоративно-племенные отношения оказались сильнее принципов, и то, что еврейские интеллектуалы не прощали Грибачёву, Софронову или Кочетову, то всегда сходило с рук Си-монову, Антокольскому или какому-нибудь Арону Вергелису.

Одному только человеку своей крови Дезик не мог простить прегрешения. Я-то думал, что Самойлов не любит эту известную поэтессу М., как тип местечковой экстремистки. Однако дело было в другом. Она увела его друга Леона Тоома от Кипсы Антокольской. Ну увела и увела – дело обычное в такого рода компашках. Но Тоом вскоре погиб, и о его гибели Дезик вспоминает так:

*“Тоом откровенно рассказал мне о себе...*

*– Я никогда не был так несчастен... – несколько раз повторял он.*

*Похороны его были немногочисленны... Никто не произносил речей. Не было и поминок. Погиб он, упав из окна своей квартиры, при неясных обстоятельствах. Слуцкий собирался опросить свидетелей его смерти. Но Наталья Павловна (первая жена Тоома. – Ст. К.) просила этого не делать”. Самойлов не написал в дневниках ничего больше о смерти Леона, но однажды в минуту*



хмельной откровенности рассказал мне, что Тоом незадолго до смерти был совершенно измучен тем, что был должен то и дело доставать для своей новой жены очередную дозу наркотиков, а это в советской Москве было делом и безумно дорогим и преступным. Не всегда это удавалось Леону, но тогда молодая жена не давала ему пощады. Многие думали, что из-за этого он и покончил с собой, причём какое-то время держался за подоконник и потом разжал руки.

Вот так попрощался Дезик с одним из редких своих друзей неевреев и возненавидел свою одноплеменницу. Увидев в ресторане ЦДЛ её сутулую фигуру с горбоносым профилем, обрамлённым гривой прямых чёрных волос, он всегда отворачивался от неё и с ужасом, чуть не плача шептал:

– Ты, Стах, держись от этой ведьмы подальше! Она и поэтесса плохая. И стихов её не читай!

И всё-таки для него друзья-литераторы из своей кровной компашки были ближе, дороже, роднее, нежели “не свои” – талантливые русские люди, в которых он всегда отмечал какую-нибудь червоточинку.

Вот характеристики из его дневниковых записей и писем: “Приятный умный Эйдельман”, “Клейнер читает хорошо. Он вообще один из самых лучших чтецов у нас, если не самый лучший”; “приезжал Кома. Славный разговор с взаимопониманием”; “Копелев переводит гениально”; “Лёва Адлер... умный, хороший, думающий человек”, “Марк Бершадский был талантливый, обещающий юноша, добрый, обаятельный, храбрый”; “Гердт печален и умён”; “умер Наум Гребнев. Большое огорчение. Это был умный одарённый человек. Он жил закрытой ненавистью и, кажется, никогда не мог подняться над антисемитизмом”. О Л. Я. Гинзбург: “Она очень умная”, о Ю. Дикове: “Он очень мил и любит кого надо и не любит кого надо”; о Михаиле Козакове: “умён, незлобив, интеллигентен”; о Л. Чуковской: “Какая она хорошая, точная, умная и наивная”; о Науме Коржавине: “Говорили тепло. Он милый”; об Иосифе Бродском: “Скрупулёзен в мелочах, иногда в них пронзителен и гениален”; “славный мальчик Леонид Фельдман”; “А. Володин очень талантливый драматург”... Подобные выписки “о своих” можно продолжать без конца.

А вот что писал Самойлов в дневниках о нас, русских. О Кожинове: “Он энергичный, честолюбивый ненавистник... Всегда ощущение от его высказываний, что за ними таится ещё что-то грубое, корыстное, тревожное и непрошибаемое”.

Вадим Кожин, находившийся с Дезиком в нормальных человеческих и литературных отношениях, незадолго до смерти обнаружил, что со стороны последнего отношение к нему было фальшивым. Кожин написал послесловие к сборнику “Свет двуединый”, составленному поэтами М. Грозовским и Е. Витковским из стихотворений еврейских поэтов о России, в котором была такая запись:

**“Дезик в своё время преподнёс мне свою лучшую, на мой взгляд, книгу “Дни” с поразившей меня надписью: “Вадиму – человеку страстей, что для меня важнее, чем человек идей, – с пониманием (взаимным). Где бы мы ни оказались – друг друга не предадим. 1.03.71. Д. Самойлов”.**

Но прошли годы, и мне показали публикацию “подённых записей” Дезика, где именно 1.03.71 начертано: “Странный тёмный человек Кожин”... И ещё одна – не датированная запись: “фашист – это националист, презирающий культуру... Кожин, написавший подлую статью об ОПЯЗе, – фашист” (Д. Самойлов. Памятные записи. – М., 1995 г., стр. 431)”.

Кстати, благожелательная дарственная надпись Кожинину, которую Самойлов оставил на книге “Дни”, была сделана при мне в квартире Вадима, где мы, по приглашению хозяина, выпивали, закусывали и дружески рассуждали о литературе... А ночью после этого Дезик пишет о Кожинине, как о фашисте. Тут поневоле поверишь заповедям “Шулхан Аруха” о том, что гоям можно говорить неправду, обманывать их, и что это для еврея не грех...

Приведу ещё несколько записей Дезика о русских писателях. “Чалмаевщина” – ну это терминология ренегата Александра Яковлева; “балалаечники (Тряпкин, Фокина)”, “Печенеги (Глушкова, Куняев)”; об Александре Блоке: “Человек он был страшноватый”. “Перечитываю “Дневник писателя за 1876 год”, никак не могу полюбить эту книгу, хотя мыслей там уйма. “Мальчик на ёлке”, “Марей” и “Столетняя” уж очень натужны, как вообще наиграна у Досто-

евского вера в бога и любовь к народу”; “Карантин” В. Максимова. Книга пёстрая и невежественная”; “Палиевский, Куняев и Кожин выкинули фортель на обсуждении темы “Классика и современность”. Честолюбцы предлагают то-вар лицом. Люди они мелкие. Хотят куска власти. Интеллигенты негодуют и ждут конца света. Стасик прислал мне книгу с трогательной надписью”.

Я помню, что сделал это сознательно, не без оснований надеясь, что Самойлов внимательно отнесётся к дискуссии “Классика и мы” и поймёт её сущность. Однако, судя по дневниковой записи, сделанной по горячим следам, рассчитывать на понимание у него мне не приходилось. Правда, в письме от него, полученном мной после дискуссии, он обо всём высказался гораздо дипломатичнее, мягче, нежели в дневниковой записи тех времён:

*“Дорогой Стасик!*

*Спасибо тебе за книгу, за добрую надпись и за письмо.*

*Я думаю, что между нами ничего дурного не происходит и ничего дурного не произойдёт. Просто по российской привычке всё путать мы путаем мировоззрение и нравственность. Французы уже это превзошли во времена Гюго.*

*Может быть нравственный обскурант и безнравственный либерал. Я это хорошо понимаю, и в своих отношениях с людьми исхожу из нравственного, а не из мировоззренческого.*

*А нравственное, по-моему, состоит в неприятии крови. Слишком много её пролилось за последние десятилетия. И ради чего угодно нельзя допустить новых кровопролитий.*

*Кровь ничего не искупает. Она противна культуре. Только тот, кто участвовал в кровопролитии, может это понять.*

*Свою единственную задачу я вижу именно в этом: утверждать терпимость, пускай я это делаю без должного таланта и понимания искусства. Бог с ним, с искусством.*

*Призываю и тебя быть терпимее и не возбуждать себя до крайностей.*

*Будь здоров. Привет Гале.*

*Твой Д. Самойлов”.*

Я-то думал, что он, “гуманист и философ”, поймёт мой бунт против Багрицкого, осудит вместе со мной страшные идеи местечковых чекистов: “Но если век скажет “солги” – солги, но если век скажет “убей!” – убей”. Нет, Дезик ничего не сказал о кровопролитии, которое воспевал и прославлял Багрицкий-Дзюбин: “Их нежные кости сосала грязь. За ними захлопывались рвы. И подпись над приговором вилась струёй из простреленной головы”.

Дезик промолчал о той крови, как будто её и не было. Но осудил меня за то, что якобы моё выступление на дискуссии призывает к кровопролитию.

А в дневнике он сделал совсем уж непотребную запись: “Апокалиптические слухи. Письмо Куняева, письмо Рязанова. Возбуждение и растерянность, экстремисты требуют крови, и она будет. Провинция прёт на Москву, а там некому сопротивляться, кроме узкого круга “столичной интеллигенции” (запись от 11.02.1981 г.). Он тогда же написал стихотворение, строки из которого процитировал Давид Шраер-Петров в своей книге: “А всё ж дружили и служили, и жить мечтали заново. И всё мечтали. А дожили до Стасика Куняева”.

Постепенно Дезик терял способность к поиску истины, к мужественной мысли, к настоящему спору. Его дневник стал фиксировать всякую мелочь, касающуюся его или его единомышленников:

*“Поносная статья Куняева в “Нашем современнике” против Чуприна”, “выпады против меня и Левитанского”, “М. Алексеев в “Москве” отказался печатать поносную статью Глушковой против меня”. (А между прочим, эта статья – одна из самых умных и глубоких, написанных о творчестве Д. Самойлова.)*

*“Приходил Мезенцев, рабочий из Северодвинска, одержимый поклонник Высоцкого. Ненавидит Куняева, презирает “Наш современник”.*

*“Статья Глушковой против меня. Глупо. Бездарно. Грязное воображение. Против жидомасонства – шизомасонство”.*

Года за два до смерти и от страха, что ли, когда наши СМИ и ТВ запугивали еврейских обывателей скорыми погромами, у Дезика совершенно явно ожили все еврейские комплексы и в истерической форме выплеснулись на страницы дневника:

**“Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: “Шма исроэл! Адонай элэхейну, Адонай эхад!” Единственное, что я запомнил из своего еврейства”** (4.08.1988 г.). В переводе – начало еврейской молитвы: “Слушай, Израиль! Господь – наш Бог, Господь один!” Существуют воспоминания, что начальник сталинской охраны Паукер рассказывал Сталину, будто бы когда Зиновьева повели на расстрел, то он читал на древнееврейском слова этой молитвы... Бедный Дезик...

Все последние годы жизни он был тесно окружён идейными диссидентами. Многие из них уехали из Советского Союза – Копелев с Орловой в Германию, Григорий Померанц – кажется, во Францию, Дина Каминская и Константин Симис – его старейшие друзья – в Америку, Анатолий Якобсон, которого Дезик почему-то считал чуть ли не первой фигурой нашей литературной критики – в Израиль.

Но выше всех друзей своей второй “теневого жизни” Дезик ценил Юлия Даниэля.

*“31.01.1989 г. (дневниковая запись в Пяру).*

*По радио услышал о смерти и похоронах Даниэля. Большое горе. Юлика привёл ко мне Андрей Синявский в самом начале 60-х – послушать стихи. Даниэль сразу мне понравился. Юлик был наделён умом, дарованием и обладал приятным нравом. Но главное его свойство – умение точно и безошибочно поступать, как будто без размышлений и колебаний, не вдаваясь в подробности, не мучась сомнениями. Это было нечто вроде абсолютного слуха на нравственный поступок. Я всегда прибегал к его советам по сомнительным вопросам. Он отвечал кратко и сразу: “Я бы так не сделал” или “Я бы сделал так”. Это всегда было просто, убедительно и исполнимо. <...>. Стихи его не казались мне талантливыми, но всегда были нравственно точны, как и его поступки и всё поведение.*

*Во время процесса Синявского и Даниэля я подписал письмо в их защиту <...> После лагеря он переводил стихи под псевдонимом Петров. Делал и негритянскую работу. Под моим именем напечатана переведённая им поэма Кайсына Кулиева и “Уманские истории” Бажана...”*

Нина Воронель, которую я хорошо помню по 60-м годам, обретшая известность в литературных кругах после перевода “Баллады Реддингской тюрьмы” Оскара Уайльда, была близко знакома и с Дезиком и с Юликом. В своей книге “Без прикрас”, вышедшей в Москве в 2003 г. (изд. “Захаров”), она опубликовала целую главу с названием “Дезик и Юлик”. И вообще книга любопытна для понимания нравов всей нашей “диссидентуры”, внутри которой вращалась Нинель Воронель. К Дезику в Опалиху, где он жил с новой семьёй, она приехала по делу:

*“Неожиданно – уже не помню по чьей инициативе, – он предложил мне стать его “негром”: то есть писать под его именем халтурные сценарии для радиопьес <...> Для переговоров об этом мы с Сашей и поехали в Опалиху, где у Дезика тогда был собственный дом”.*

Оказывается, у переводческой мафии в те времена было обычным делом набирать в издательствах огромное количество заказов, распределять их своим “неграм”, подписывать переводы своим именем, получать гонорары, видимо, какой-то процент гонорара оставлять себе и т. д. Этим занимался не только Дезик, но и Тарковский, и Аркадий Штейнберг, да и, наверное, многие популярные переводчики.

После таких признаний и даже судебных разбирательств, случившихся, как мне помнится, между Арсением Тарковским и Аркадием Штейнбергом, трудно быть уверенным, что переводы Самойлова или Межирова, Гребнева или Козловского принадлежат именно им, а не их “литературным неграм”. Но речь о другом. В своих дневниках Самойлов восхищается “абсолютным слухом” Юлия Даниэля “на нравственный поступок”. Однако Нинель Воронель, нынешняя гражданка Израиля, с упоением рассказывает в своей книге о нравах, бытовавших в доме Даниэля и его жены Ларисы Богораз. Впрочем, это, видимо, вообще были нравы всей тогдашней диссидентуры, в том числе и героев похода на Красную площадь, совершённого в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.

Из книги Н. Воронель “Без прикрас”:

**“Дом его заполнили толпы какого-то проходящего мимо народа, – собеседников, собутыльников, сексотов, соглядатаев и переменных подру-**

жек. Временами начинка его запущенных комнат, обклеенных этикетками выпитых бутылок спиртного, которых становилось всё больше, напоминала мне видения из картин Иеронима Босха. Нетрезвые существа обоего пола кучно валялись на полу, свисали со столов и диванов и сплетались в гирлянды. Стайки харьковских поэтов и поэтесс игриво проплывали из дверей в окна, совокуплялись по пути то друг с другом, то с хозяином, то с кем-нибудь из гостей. И всем им, без разбора, Юлик читал свои крамольные повести, опубликованные за границей” (стр. 222).

Вот такой “нравственной” жизнью жили похотливо-тщеславные герои дневников Давида Самойлова.

\* \* \*

Не случайно, конечно же, в годы либерально-еврейского реванша, именуемого перестройкой, были предприняты отчаянные усилия, чтобы реанимировать и героизировать ИФЛИ и его питомцев, “вживить” эту касту в общественное сознание, изобразить ифлийцев предшественниками не только либералов-шестидесятников, но и демократов. Не где-нибудь, но именно в “Еврейской газете” (№ 47–48 за 2006 год) на полосе под названием “Еврейская улица” была опубликована статья Ларисы Белой “Жил Александр Григорьевич” о литературном критике, ифлийце Александре Когане, посвятившем чуть ли не половину своей жизни созданию сборника об истории “Красного лица”. “Тридцать пять лет из-за издательской осторожности застойной поры прошло от замысла до выхода в свет книги “В том далёком ИФЛИ”. “Александр Коган, – пишет автор статьи, – говорил, как заклинания: не умру, пока не выпустим ИФЛИ. Книга в 1999-м вышла в свет”.

Состоит она, как сообщает “Еврейская газета”, из “собрания замечательных документов эпохи – воспоминаний, писем, фотографий, стихов и прозы ифлийцев”. К сожалению, я не знал об этом издании, но другую книгу, возможно не менее интересную, изучил внимательно. Называется она “Поэтический пантеон победной войны”.

Стихи в этот пантеон собрал и переложил своими статьями и размышлениями Пётр Алексеевич Николаев. На страницах сборника сказано, что он “фронтоник”, “литературовед”, “заслуженный профессор МГУ”, “член-корреспондент РАН”, “вице-президент Российской Академии словесности”, “вице-президент Международной ассоциации профессоров”, “секретарь Союза писателей СССР” и т. д. Я же помню его скучнейшие лекции по истории литературы, с которых в 1952–53 годах, мы, студенты 1 и 2-го курса филфака МГУ сбегали из Коммунистической аудитории целыми группами, и оставалось нас от всего курса слушать лекции “Петруши” – как мы его звали – не больше, чем остаётся депутатов в нынешней Госдуме во время самых никчёмных и пустых её заседаний.

Однако карьеру, при полном отсутствии способностей выходец из муромской провинции Николаев сделал удивительную. Цитирую из предисловия к книге: “По многим своим качествам: соединению интереса к прошлому и настоящему, широкой эрудиции, блестящей памяти, он близок академику Д. С. Лихачёву, которого называли совестью нации. Именно Д. С. Лихачёв рекомендовал в своё время П. А. Николаева в состав Российской Академии наук. Сегодня Пётр Алексеевич продолжает многие научные и просветительские проекты выдающегося учёного, лидера русской культуры в 80–90-е годы XX века: руководит изданием многотомной антологии “Шедевры русской литературы”, является главным редактором многотомного энциклопедического словаря “Русские писатели, 1800–1917 гг”. П. А. Николаев автор 620 печатных работ, в том числе 18 книг; читал лекции в 48 университетах мира. <...> сближает двух великих русских учёных (Д. Лихачёва и П. Николаева. – Ст. К.) и острое чувство причастности ко всему происходящему”. Читал я этот панегирик и глазам своим не верил: вот в кого вырос наш скучнейший аспирант Петруша – в нового Ломоносова, в советского Белинского, в фигуру под стать гигантам эпохи Возрождения! Как же это произошло? Но, перелистав книгу до конца, я понял, что помогло Петру Алексеевичу. Конечно, он мог бы сделать вполне приличную карьеру после того, как в начале 80-х выступил в газете “Правда” и показал “идейную порочность” взглядов Юрия Селезнёва, а потом

проделал ту же операцию с Михаилом Лобановым, опираясь на принципы соцреализма и требования **“Коммунистической партии (...) в активном формировании нового человека”** (статья “Освобождение” от чего?” “ЛГ”, 5.01.1983 г.). Но такого рода шельмование честных русских писателей было делом рутинным, больших дивидендов не давало, и Пётр Николаев нашёл для карьеры более крупные козыри: выгодную женитьбу и любовь к ИФЛИ. О первом факторе Николаев пишет с редким, мягко говоря, простодушием, а вернее с той простотой, которая, по русской пословице, “хуже воровства”:

**“Известно, что в 1920–30-е годы люди, желавшие идти во власть, стремились жениться на еврейках и даже пытались изменить имена своих жён с русских на еврейские. С такой женщиной (женой министра путей сообщения Ковалёва) мне пришлось однажды откровенно разговаривать о том, почему она своё девичье имя Дарья сменила на Дору. Муж сказал, что он не сделает карьеру, если она оставит своё русское имя”** (“Поэтический пантеон”, стр. 63).

Традиция эта жива и по сей день – жёны А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Щедрина и многих других “ифлийцев” весьма способствовали карьерам своих мужей.

Женой мордовского паренька Петра Николаева стала женщина по имени Ирина Иосифовна, дочь медика сталинской эпохи в генеральском звании. Ей не нужно было, как русской жене министра путей сообщения, притворяться еврейкой, с этим – у неё всё было в порядке. Недаром её Петруша ещё до необыкновенных карьерных успехов в профессорских, академических и прочих сферах уже в 29 лет, как пишет сам “великий российский учёный”, **“участвовал в заседании Центрального Комитета партии в январе 1953 года, где обсуждался вопрос с ошеломляющим названием “О трагическом состоянии Советского кино”**. Мне было 29 лет, я уже работал председателем сценарной коллегии министерства кинематографии и потому был приглашён на это высокое собрание”. Ирина Иосифовна занимала крупные посты в Государственном Комитете по печати СССР, и всё у Николаева было в ажуре, когда бы не одно горестное обстоятельство послевоенных лет:

**“И вдруг однажды всё переменялось (может быть, дружба с Гитлером и одинаковые эстетические вкусы: в окружении Гитлера и Сталина писали одинаково – как под копирку – статьи о социалистическом реализме), вместо поклонения всему еврейскому в 1940-е годы в общественном сознании стало внедряться сверху, разумеется от вождя, антисемитское воззрение на мир”**.

Забыл Пётр Алексеевич, сколько он сам налудил статей о соцреализме. Да и о “дружбе” Сталина с Гитлером, раздавшим в мае 1945 г. во рту ампулу цианистого калия, могут всерьёз писать лишь олигофрены. Но поразительнее всего другое: наш второй Лихачёв сокрушается о том, что в 40-е годы **“вместо поклонения всему еврейскому”** начинает **“внедряться сверху... антисемитское воззрение на мир”**. Скучнейший и вреднейший был этот литературный функционер, но чтобы верить, будто **“поклонение всему еврейскому”** в России будет продолжаться до Страшного суда, – это уж слишком.

Впрочем, этих глупостей в его “пантеоне” не счесть: **“У нас в общезнании каждую ночь арестовывали по несколько человек. Начали с тех фронтовиков, кто имел больше всех орденов. Было такое чувство, что Сталин хотел избавиться от всех участников войны”**... **“Сталин был трусом, боялся героев войны, победителей”**; **“Русская литература XX века страдает комплексом неполноценности... Ни одна строка Пушкина, касающаяся Полтавской битвы, или строки Лермонтова о Бородино не могут даже претендовать на сравнение со строками, созданными поэтами – участниками войны в 40-е годы XX века”** (естественно, это в первую очередь строки Самойлова, Левитанского, Окуджавы); **“Сталинская эра была эпохой культа безличности”** (Сталин, по его мнению, личностью не был. – Ст. К.); **“Успели же карательные органы отыскать в Ленинграде более 50 тысяч немцев, родившихся и проживающих в городе и возле него. Большинство из них было вывезено за Урал и потоплено в Иртыше”**; **“Николай II был гораздо умнее Сталина и советского руководства: в 1914 году он призвал в русскую армию немцев, родившихся в России, и даже назначал их командирами дивизий”**; **“Решение Сталина выслать всех ев-**

реев на Дальний Восток... было продолжением политики царской власти в отношении гонимой нации"; "Генералы везли вагонами немецкий фарфор и другие трофейные ценности и понастроили гигантское количество дач, куда и поместили этот фарфор" и т. д. Все эти глупости комментировать нет смысла, оставить бы их на совести Лихачёва, рекомендовавшего "Петрушу" в академики. Но Лихачёв, к сожалению, умер.

Естественно, что чуть ли не на каждой странице книги прославляется "Красный лицей": "До войны она училась в знаменитом МИФЛИ", "МИФЛИ был лучшим гуманитарным вузом страны", "Среди погибших поэтов, как уже отмечалось, было немало студентов МИФЛИ. Образ защищаемой родины выступал в образе их любимого института". Родина – "в образе любимого института", история которого прославляется на страницах "Еврейской газеты"... Это нечто новое в литературоведении. (Это сильнее, чем у Вознесенского: "Политехнический – моя Россия".) Да и весь идейно-эстетический багаж нашего академика – ифлийский. И ненависть к Сталину – "ифлийская", и "поклонение всему еврейскому" – ифлийское, и любимые строки о войне – "война гуляет по России, а мы такие молодые" (Самойлов) или "мы все войны шальные дети" (Окуджава) – у него ифлийские, то есть залихватски-маркитантские, "флибустьерские", "прогулочные"... Да и Отечественную войну, в которой он сам участвовал, наш мордовский шабесгой сомневается, можно ли назвать Великой...

\* \* \*

Последние 15 лет своей жизни Дезик с семьёй прожил в эстонском городе Пярну. Как высокопарно пишет о его литературной судьбе вдова поэта Г. Медведева, в это время "кончился "моцартианский" период жизни и творчества" (с кем сравнить Д. Самойлова? Разве что с Пушкиным или Моцартом! – Ст. К.). Поэт осваивает дневниковую прозу, жанр воспоминаний. "Образцом, с постоянной поправкой на недостижимость, – по словам Медведевой, – служили "Былое и думы".

Как Герцена в лондонской эмиграции, его навещают только свои: диссиденты эпохи 70–80-х годов, будущие "демократы", отказники, будущие эмигранты. В основном – евреи. Круг его общения крайне сужается, говоря современным языком, до "тусовки". Он теперь питается только слухами: "Приехал Феликс Зигель. Рассказывал о русском фашизме".

Иногда Дезик делает робкие шаги в сторону активных и настоящих врагов советской жизни, но каждый раз останавливает себя, комплексует: ему и власть уязвить охота, и страшно чего-то лишиться. Словом, "и хочется, и колется", а сидеть на двух стульях трудно.

"Меня, кажется, лишают квартиры за общение с А. Д. Сахаровым" (роскошную пятикомнатную квартиру он получил через четыре месяца. – Ст. К.), "много говорят о моём вечере на телевидении", "не сказать ли мне на вечере речь, после которой меня закроют" и т. д. Вот красноречивые примеры этих комплексов.

Приняв на себя роль маленького эстонского Герцена, он постепенно утрачивает трезвый взгляд на историю, на справедливую оценку прошлого, то есть многое из того, что у него было до эстонского периода жизни, когда, к примеру, он мог записать в дневнике: "Диктатура Сталина в известной мере сдерживала претензии "нового класса". Или о том, как Сталин остановил волну мстительного кровопролития, к которому призывал Эренбург, когда наши войска вошли в Германию: "Тут только один Сталин мог удержать нас огромным своим авторитетом". Или запись о диссидентах-отказниках, объявивших голодовку: "Плевать им на историю. Сталину было не плевать. Он её знал, как с ней обращаться". А через десять лет как будто совсем другой человек пишет: "Ясно, что страной управлял маразматик. Но страна этого не знала".

Отшатнувшись от меня, Кожина, Палиевского, он не то чтобы впал в "руссофию" – но как будто прививка "русскости" в его существо "рассосалась". Ни одного русского поэта не осталось рядом с ним. Даже о Чухонцеве Дезик сделал несправедливую запись: "Его слегка русопятит. Как бы совсем не срусопятился". Не срусопятился...

Валентин Курбатов, к которому по пути в Пярну он часто заезжал в

Псков, стал ему тягостен: **“Думал Курбатову писать серьезно. А потом понял, что это бесполезно. “Самородки” сейчас самая безнадежная часть литературы”**.

И Рубцова, как “самородка”, он тоже не понял и писал о нём в дневнике с неизменной и, возможно, завистливой иронией: **“Его тоже верстают в гении”, “У нас классиками будут Бажов или Рубцов”**.

...Умер он в 1990 году в Пярну на вечере, посвящённом поэзии культового поэта всех ифлийцев Бориса Пастернака, среди своих, на глазах у *“прекрасного Гердта”*, умер в звании *“заслуженного деятеля культуры Эстонии”*. Будучи принятым незадолго до смерти в Пен-клуб.

Дезик любил иронизировать над судьбой, а она подшутила над ним: убегая от “русского фашизма” в эстонскую эмиграцию, он оказался похороненным в одной из самых фашизированных стран современной Европы.

*“Родина — это не там, где хорошо или плохо, а без чего нельзя жить”*, — писал он в лучшие для себя времена. Но не получилось остаться в России. Не устоял в истине.

Так же, как Александр Межиров, который однажды неосторожно пообещал мне в письме: **“Я прожил жизнь и умру в России”**. Доживает он жизнь в Америке, где и будет похоронен. Впрочем, всё это “обыкновенная история”, как говорил Гончаров. То же самое произошло и с Бродским: *“Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать”*. Поклялся, забыв, что в Священном Писании сказано: “не клянись”... Три клятвы. Трое поэтов, над которыми подшутила судьба, выбравших место для последнего успокоения в Италии, в Эстонии, в Америке, в эпоху, когда маркитанты победили лейтенантов. Надолго ли?..

2005–2007